Н.В. ГОГОЛЬ

Н.В. ГОГОЛЬ

2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Н. В. ГОГОЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

Под редакцией
С. И. МАШИНСКОГО, А. Л. СЛОНИМСКОГО,
Н. Л. СТЕПАНОВА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Н. В. ГОГОЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

МИРГОРОД

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Подготовка текста и примечания
С. И. МАШИНСКОГО

МИРГОРОД

Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки»

Миргород нарочито невеликий при реке Хороле город. Имеет 1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц.

География Зябловского.

Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны.

Из записок одного путешественника.

Часть первая

СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ

Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом;

развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него,— все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя по крайней мере на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь.

Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик,— и ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу.

Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал расска-



Старосветские помещики

Рисунок П. Боклевского. [1882]

зывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник, верно бы, украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на *о*, слог *въ*. Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии.

Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу *ты*, но всегда *вы*: вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих. Когда-то, в молодости, Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд-майором, но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол; он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать

за него; но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере никогда не говорил.

Все эти давние, необыкновенные происшествия заменились спокойною и уединенною жизнию, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу.

Он всегда слушал с приятною улыбкою гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.

Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, прозябнувши от преследования

за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая в ладоши. Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой Петра III. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержавшийся с такою опрятностию, с какою, верно, не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее.

Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветною шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетие, были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится.

Но самое замечательное в доме — были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет,— но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось: «батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрып две-

рей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей... и боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!

Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были все с высокими выточенными спинками, в натуральном виде, без всякого лака и краски; они не были даже обиты материею и были несколько похожи на те стулья, на которые и доныне садятся архиереи. Трехугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц, — вот все почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики.

Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большею частию бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостию держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке, с босыми ногами, и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос; но как только подавали



Старосветские помещики

Рисунок П. Боклевского. [1882]

свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черною тучею весь потолок.

Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу; все бремя правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы наконец весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои.

В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом, обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделывали множество саней и продавали их на ближней ярмарке; кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним козакам. Один только раз Пульхерия Ивановна пожелала обревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартуками, от которых, как только кучер встряхивал вожжами и

лошади, служившие еще в милиции, трогались с своего места, воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны и флейта, и бубны, и барабан; каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее двух верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которые она еще в детстве знавала столетними.

— Отчего это у тебя, Ничипор,— сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся,— дубки сделались так редкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали редки.

— Отчего редки? — говаривал обыкновенно приказчик,— пропали! Так-таки совсем пропали: и громом побило, и черви проточили,— пропали, пани, пропали.

Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дуль.

Эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары, а что с бар будет довольно и половины; наконец и эту половину привозили они заплесневшую или подмоченную, которая была обракована на ярмарке. Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько ни клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотна и пряжу, что все обращалось ко всемирному источнику, то есть к шинку, сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи,— но благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве.

Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда вставали рано) и как только двери заводили свой разноголосный концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшею подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица: он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать.

После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне:

— А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?

— Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?

— Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков,— отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.

За час до обеда Афанасий Иванович закусывал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.

— Мне кажется, как будто эта каша,— говаривал обыкновенно Афанасий Иванович,— немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?

— Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою,

или вот возьмите этого соусу с грибками и подлейте к ней.

— Пожалуй,— говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку,— попробуем, как оно будет.

После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила:

— Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз.

— Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в средине,— говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть,— бывает что и красный, да нехороший.

Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил:

— Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?

— Чего же бы такого? — говорила Пульхерия Ивановна,— разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?

— И то добре,— отвечал Афанасий Иванович.

— Или, может быть, вы съели бы киселику?

— И то хорошо,— отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо.

Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка,

что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала:

— Чего вы стонете, Афанасий Иванович?

— Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит,— говорил Афанасий Иванович.

— А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?

— Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?

— Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами.

— Пожалуй, разве так только, попробовать,— говорил Афанасий Иванович.

Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку; после чего он обыкновенно говорил:

— Теперь так как будто сделалось легче.

Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхериею Ивановною и поговорить о чем-нибудь постороннем.

— А что, Пульхерия Ивановна,— говорил он,— если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?

— Вот это боже сохрани! — говорила Пульхерия Ивановна, крестясь.

— Ну, да положим, что дом наш сгорел, куда бы мы перешли тогда?

— Бог знает что вы говорите, Афанасий Иванович! как можно, чтобы дом мог сгореть: бог этого не попустит.

— Ну, а если бы сгорел?

— Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница.

— А если бы и кухня сгорела?

— Вот еще! бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом и кухня сгорели! Ну, тогда в кладовую, покамест выстроился бы новый дом.

— А если бы и кладовая сгорела?

— Бог знает что вы говорите! я и слушать вас не хочу! Грех это говорить, и бог наказывает за такие речи.

Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхериею Ивановною, улыбался, сидя на своем стуле.

Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них ни было лучшего, все это выносилось. Они наперерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ. Это радушие вовсе не то, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпускаем того же дня: он должен был непременно переночевать.

— Как можно такою позднею порою отправляться в такую дальнюю дорогу! — всегда говорила Пульхерия Ивановна (гость обыкновенно жил в трех или в четырех верстах от них).

— Конечно,— говорил Афанасий Иванович,— неравно всякого случая: нападут разбойники или другой недобрый человек.

— Пусть бог милует от разбойников! — говорила Пульхерия Ивановна.— И к чему рассказывать эдакое на ночь. Разбойники не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера, он такой тендитный да маленький, его всякая кобыла побьет; да притом теперь он уже, верно, наклюкался и спит где-нибудь.

И гость должен был непременно остаться; но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий и усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья, всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него наградою. Я вижу как теперь, как Афанасий Иванович согнувшись сидит на стуле с всегдашнею своею улыбкой и слушает со вниманием и даже наслаждением гостя! Часто речь заходила и об политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта, или просто рассказывал о предстоящей войне, и тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну:

— Я сам думаю пойти на войну; почему ж я не могу идти на войну?

— Вот уже и пошел! — прерывала Пульхерия Ивановна.— Вы не верьте ему,— говорила она, обращаясь к гостю.— Где уже ему, старому, идти на войну! Его первый солдат застрелит! Ей-богу, застрелит! Вот так-таки прицелится и застрелит.

— Что ж,— говорил Афанасий Иванович,— и я его застрелю.

— Вот слушайте только, что он говорит! — подхватывала Пульхерия Ивановна,— куда ему идти на войну! И пистоли его давно уже заржавели и лежат в коморе. Если б вы их видели: там такие, что, прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом. И руки себе поотобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется!

— Что ж,— говорил Афанасий Иванович,— я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или козацкую пику.

— Это все выдумки. Так вот вдруг придет в голову, и начнет рассказывать,— подхватывала Пульхерия Ивановна с досадою.— Я и знаю, что он шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот эдакое он всегда говорит, иной раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет.

Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле.

Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске.

— Вот это,— говорила она, снимая пробку с графина,— водка, настоянная на деревий и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник: если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот эта — перегнанная на персиковые косточки; вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкапа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом — и все как рукой снимет, в ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало.

После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всею этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок.

— Вот это грибки с чебрецом! это с гвоздиками и волошскими орехами! Солить их выучила меня туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркеня, и незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит, почти как у нас; только свинины не ела: говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородинным листом и мушкатным орехом! А вот это большие травянки: я их еще в первый раз отваривала в уксусе; не знаю, каковы-то они; я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще что бывает на нечуй-витере цвет, так этот цвет взять и хвостиками разостлать вверх. А вот это пирожки! это пирожки с сыром! это с урдою! а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и гречневою кашею.

— Да,— прибавлял Афанасий Иванович,— я их очень люблю; они мягкие и немножко кисленькие.

Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвычайно

в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка! Она вся принадлежала гостям. Я любил бывать у них, и хотя объедался страшным образом, как и все гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то, без сомнения, вместо постели очутился бы лежащим на столе.

Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого маловажного случая. Но по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события, и наоборот — великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля; а иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом села и деревни, а там и целое государство. Но оставим эти рассуждения: они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями.

У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком, у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, часто подшучивал над такою привязанностию:

— Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке. На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?

— Уж молчите, Афанасий Иванович,— говорила Пульхерия Ивановна,— вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка тихое творение, она никому не сделает зла.

Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки; он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Ивановной.

За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком,— может быть, оттого, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизированы, нежели обитатели лесов. Это, напротив того, большею частию народ мрачный и дикий; они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало, являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им не известны; они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкою Пульхерии Ивановны и наконец подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло три дня; Пульхерия Ивановна пожалела, наконец вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с нарванными своею рукою зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она, как будто по инстинкту, произнесла: «Кис, кис!» — и вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая; заметно было, что она

несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла перед нею, мяукала и не смела близко подойти; видно было, что она очень одичала с того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самого забора. Наконец, увидевши прежние, знакомые места, вошла и в комнату. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мяса и, сидя перед нею, наслаждалась жадностию бедной своей фаворитки, с какою она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерия Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишком свыклась с хищными котами или набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы как соколы; как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее.

Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною!» — сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила: Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела.

— Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?

— Нет, я не больна, Афанасий Иванович! Я хочу вам объявить одно особенное происшествие: я знаю, что я этим летом умру; смерть моя уже приходила за мною!

Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако ж, победить в душе своей грустное чувство и, улыбнувшись, сказал:

— Бог знает чтó вы говорите, Пульхерия Ивановна! Вы, верно, вместо декохта, что часто пьете, выпили персиковой.

— Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой,— сказала Пульхерия Ивановна.

И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице.

— Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю,— сказала Пульхерия Ивановна.— Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое — то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня: мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится: из него сошьете себе парадный халат на случай, когда приедут гости, то чтобы можно было вам прилично показаться и принять их.

— Бог знает что вы говорите, Пульхерия Ивановна! — говорил Афанасий Иванович,— когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами.

— Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете.

Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок.

— Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и бога не гневите своею печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я (тяжелый вздох прервал на минуту речь ее): я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами.

При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно.

— Смотри мне, Явдоха,— говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать,— когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как гла́за своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит. Чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому

что и теперь часто позабывает он, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз, Явдоха, я буду молиться за тебя на том свете, и бог наградит тебя. Не забывай же, Явдоха; ты уже стара, тебе не долго жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастия на свете. Я сама буду просить бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения божия.

Бедная старушка! она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни; она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенною расторопностию распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно чрез несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» — говорил он, с беспокойством смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами — и дыхание ее улетело.

Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не понимая значения трупа.

Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу,— он на все это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору; кутья, наливки, пироги покрывали их кучами; гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассужда-

ли о ее качествах, смотрели на него,— но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли наконец, народ повалил следом, и он пошел за нею; священники были в полном облачении, солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой, ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу; он подошел, поцеловал, на глазах его показались слезы,— но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священник взял заступ и первый бросил горсть земли, густой протяжный хор дьячка и двух пономарей пропел вечную память под чистым, безоблачным небом, работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму,— в это время он пробрался вперед; все расступились, дали ему место, желая знать его намерение. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее! зачем?!.» Он остановился и не докончил своей речи.

Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен,— он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей.

Пять лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним? Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств, я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти — нежная, прекрасная, как ангел,— была поражена ненасытною смертию. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной, палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду... Его старались не выпускать с глаз; от него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. Две недели спустя он вдруг победил себя: начал смеяться, шутить; ему дали

свободу, и первое, на что он употребил ее, это было — купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в комнату и увидели его распростертого, с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельною, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы мог он себя ударить; но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растрощило руку и ногу; но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале: он сидел за столом, весело говорил: «петит-уверт», закрывши одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.

По истечении сказанных пяти лет после смерти Пульхерии Ивановны я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее, крестьянские избы совсем легли набок — без сомнения, так же, как и владельцы их; частокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать только два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу; те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вышел старик. Так это он! я тотчас же узнал его; но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с тою же знакомою мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты; казалось, все было в них по-прежнему; но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то; словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые

овладевают нами, когда мы вступаем в первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собою без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны: за столом подали один нож без черенка; блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения.

Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою,— и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости; он слушал с тою же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею и, вместо того чтобы подносить ко рту, подносил к носу; вилку свою, вместо того чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: «Что это так долго не несут кушанья?» Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюда, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью.

«Вот это то кушанье,— сказал Афанасий Иванович, когда подали нам *мнишки* со сметаною,— это то кушанье,— продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее.— Это то кушанье, которое по... по... покой... покойни...» — и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил его всего; он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку.

«Боже!— думал я, глядя на него,— пять лет всеистребляющего времени — старик уже бесчувствен-

ный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов,— и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнее над нами: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей — есть только следствие нашего яркого возраста и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастия; это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу; нет! это были слезы, которые текли не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца.

Он не долго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиною Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенною своею беспечностию, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович!» Он оборотился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты — нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он наконец произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня!»

Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неми-

нуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокоивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню.

Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял как свечка и, наконец, угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны»,— вот все, что произнес он перед своею кончиною.

Желание его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал, неизвестно откуда, какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Мудрая опека (из

одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире) перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; мужики расспьянствовались и стали большею частию числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своею опекою и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии; тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как-то: муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как-то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышает всем оптом своим цены одного рубля.

ТАРАС БУЛЬБА

I

— А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии? — Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

— Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько,— продолжал он, поворачивая их,— какие же длинные на вас свитки![1] Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А побеги который-нибудь из вас! я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшися в полы.

— Не смейся, не смейся, батьку! — сказал наконец старший из них.

---

[1] Верхняя одежда у южных россиян. (*Прим. Н. В. Гоголя.*)

— Смотри ты, какой пышный! А отчего ж бы не смеяться?

— Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу!

— Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька?..— сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад.

— Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого.

— Как же хочешь ты со мною биться? разве на кулаки?

— Да уж на чем бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки!— говорил Тарас Бульба, засучив рукава,— посмотрю я, что за человек ты в кулаке!

И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

— Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума!— говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих.— Дети приехали домой, больше году их не видали, а он задумал невесть что: на кулаки биться!

— Да он славно бьется!— говорил Бульба, остановившись.— Ей-богу, хорошо!— продолжал он, немного оправляясь,— так, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет казак! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!— И отец с сыном стали целоваться.— Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил; никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство: что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил? — говорил он, обращаясь к младшему,— что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?

— Вот еще что выдумал! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего.— И придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя молодое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом), ему бы теперь нужно

опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться!

— Э, да ты мазунчик, как я вижу! — говорил Бульба.— Не слушай, сынку, матери: она — баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь: вот ваша нежба! А видите вот эту саблю? вот ваша матерь! Это все дрянь, чем набивают головы ваши; и академия, и все те книжки, буквари, и философия — все это *ка зна що*, я плевать на все это! — Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати.— А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука так наука! Там вам школа; там только наберетесь разуму.

— И всего только одну неделю быть им дома? — говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха мать.— И погулять им, бедным, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них!

— Полно, полно выть, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, да ставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков; тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! Да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела, как бешеная.

Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных монистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющихся более на Украйне бородатыми старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры, в виду обсту-

пившего народа; во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украйне за унию. Все было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями, через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол под образами в парадном углу; широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами,— все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время; приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не в обычае было позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо; и когда пришли двое из них и есаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час представил сыновей, говоря: «Вот, смотрите, какие молодцы! На Сечь их скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу и обоих юношей и сказали им, что доброе дело делают и что нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сечь.

— Ну ж, паны-браты, садись всякий, где кому лучше, за стол. Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки! — так говорил Бульба.— Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же боже,

чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били! Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю: Гораций, что ли?

«Вишь, какой батько! — подумал про себя старший сын, Остап,— все старый, собака, знает, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки,— продолжал Тарас.— А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что ни есть у козака? А может, так как вы сделались уже слишком разумные, так, может, и плетюганами пороли? Чай, не только по субботам, а доставалось и в середу и в четверги?

— Нечего, батько, вспоминать, что было,— отвечал хладнокровно Остап,— что было, то прошло!

— Пусть теперь попробует! — сказал Андрий.— Пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будет знать она, что за вещь козацкая сабля!

— Добре, сынку! ей-богу, добре! Да когда на то пошло, то и я с вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-богу, поеду! — И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола, и, приосанившись, топнул ногою.— Завтра же едем! Зачем откладывать! Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? На что эти горшки? — Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки.

Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она

не смела ничего говорить; но, услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука,— и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах.

Бульба был упрям страшно. Это был один их тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле-мирный славянский дух и завелось козачество — широкая, разгульная замашка русской природы,— и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие и удобные места усеялись козаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: «Кто их знает! у нас их раскидано по всему степу: что байрак, то козак» (что маленький пригорок, там уж и козак). Это было, точно, необыкновенное явленье русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся, наместо удельных князей, властителями сих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значенье козаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдаленною властью гетьманы,

избранные из среды самих же козаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Это не было строевое собранное войско, его бы никто не увидал; но в случае войны и общего движенья в восемь дней, не больше, всякий являлся на коне, во всем своем вооружении, получа один только червонец платы от короля,— и в две недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход — воин уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный козак. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал козак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский,— все это было ему по плечу. Кроме рейстровых козаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочекомонных: стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй вы, пивники, броварники! полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы! полно вам за плугом ходить, да пачкать в земле свои желтые чеботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать козацкой славы!» И слова эти были как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность.

Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворян-

стве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь козаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам с своими козаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважили в чем старшин и стояли пред ними в шапках, когда поглумились над православием и не почтили предковского закона и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства.

Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!»; как представит их всем старым, закаленным в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних. Но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать. Есаулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселе и в голове его еще бродил хмель, однако ж не забыл ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришел усталый от своих забот.

— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор; все, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей.

Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом; она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственною грудью, она возрастила, взлелеяла их — и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас?» — говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности,— и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуху. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки, она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с сле-

зами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает, может быть при первой битве татарин срубит им головы и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица; а за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю. Рыдая, глядела она им в очи, когда всемогущий сон начинал уже смыкать их, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд; может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка; красные полосы ясно сверкнули на небе.

Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А где ста̀ра? (Так он обыкновенно называл жену свою.) Живее, стара, готовь нам есть: путь лежит великий!

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром; к очкуру прицеплены были длинные ремешки, с кистями и прочими побрякушками, для трубки. Ка-

закпн алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать как увидела их, и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

— Ну, сыны, все готово! нечего мешкать!— произнес, наконец, Бульба.— Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба.— Моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую[1], чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает.

Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит вас... божья матерь... Не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть весточку о себе...— Далее она не могла говорить.

— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба.

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и с отчаяньем в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату. Но, когда выехали они за ворота, она со всею лег-

[1] Рыцарскую. (*Прим. Н. В. Гоголя.*)

костию дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какою-то помешанною, бесчувственною горячностию; ее опять увели.

Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, с своей стороны, был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад; хутор их как будто ушел в землю; только видны были над землей две трубы скромного их домика да вершины дерев, по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний луг еще стлался перед ними,— тот луг, по которому они могли припомнить всю историю своей жизни, от лет, когда катались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку, боязливо перелетавшую через него с помощию своих свежих, быстрых ног. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла.— Прощайте и детство, и игры, и всё, и всё!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сечи из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям,

хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни: эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Учившиеся им ни к чему не могли привязать своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей — все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, возбуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше,— все это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака,

Консул, долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки. Эти бурсаки составляли совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода, Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы по их приказанию пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим, наконец, сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они убегали на Запорожье, если умели найти дорогу и если не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то что начал с большим старанием учить логику и даже богословие, никак не избавлялся неумолимых розг. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае, не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее

и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был изобретательнее своего брата; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его; он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне и домы были выстроены с некоторою прихотливостию. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница с престрашными усами хлыснул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастию успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не

видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая толпою, в богатом убранстве, стояла за воротами, окружив игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостью, он пролез чрез частокол в сад, взлез на дерево, которое раскидывалось ветвями на самую крышу дома; с дерева перелез он на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнесть ни одного слова; но, когда приметила, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости пошевелить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог пошевелить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которою отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся в это время у дверей стук испугал ее. Она велела ему спря-

таться под кровать, и, как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывесть его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он встретил ее еще раз в костеле: она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо прекрасной черноглазой полячки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего.

А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями.

— Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал, наконец, Бульба, очнувшись от своей задумчивости.— Как будто какие-нибудь чернецы! Ну, разом все думки к нечистому! Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!

И козаки, принагнувшись к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только струя сжимаемой травы показывала след их быстрого бега.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным, теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у козаков, вмиг слетело; сердца их встрепенулись, как птицы.

Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу,

вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучшего. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог весть откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем... Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..

Наши путешественники останавливались только на несколько минут для обеда, причем ехавший с ними отряд из десяти козаков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась темно-зеленою; испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался до щек. Вся музыка, звучавшая днем,

утихала и сменялась другою. Пестрые суслики выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, стрекотанье,— все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем воздухе и убаюкивало дремлющий слух. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина!.. И не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плы-

ли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь.

Чрез три дни после этого они были уже недалеко от места, бывшего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело; они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и, наконец, обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по воле; где брошенные в средину его острова вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались широко по земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сечь, так часто переменявшая свое жилище.

Куча народу бранилась на берегу с перевозчиками. Козаки оправили коней. Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, — и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой средине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него.

— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивши коня.

В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец как лев растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаро-

вары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее по тесной улице, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявшими это предместие Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило Сечь, умевшую только гулять да палить из ружей.

Наконец они миновали предместие и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные уставлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» — отвечали запорожцы. Везде, по всему полю, живописными кучами пестрел народ. По смуглым лицам видно было, что все они были закалены в битвах, испробовали всяких невзгод. Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки; он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в средине которых отплясывал молодой запорожец, заломивши шапку чертом и вскинувши руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христианам!» И Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четверо старых выработывали довольно мелко ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслись вприсядку

и били круто и крепко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танце. Чуприна развевалась по ветру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимний кожух был надет в рукава, и пот градом лил с него, как из ведра. «Да сними хоть кожух! — сказал, наконец, Тарас.— Видишь, как парит!» — «Не можно!» — кричал запорожец. «Отчего?» — «Не можно; у меня уж такой нрав: что скину, то пропью». А шапки уж давно не было на молодце, ни пояса на кафтане, ни шитого платка; все пошло куда следует. Толпа росла; к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движенья, как все отдирало танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет и который, по своим мощным изобретателям, назван козачком.

— Эх, если бы не конь! — вскрикнул Тарас,— пустился бы, право, пустился бы сам в танец!

А между тем в народе стали попадаться и степенные, уваженные по заслугам всею Сечью, седые, старые чубы, бывавшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!» — «Откуда бог несет тебя, Тарас?» — «Ты как сюда зашел, Долото?» — «Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думал ли я видеть тебя, Ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно; и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсышок?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были козаки!»

III

Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрий мало занимались военною школою. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время отдавалось гульбе — признаку широкого размета душевной воли. Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы и болтовня среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земле, часто так были смешны и дышали такою силою живого рассказа, что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом,— резкая черта, которою отличается доныне от других братьев своих южный россиянин. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабак, где мрачно-искажающим весельем забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых

толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, где играют в мяч, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь — и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному обычаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь выронить. Здесь были все бурсаки, не вытерпевшие академических лоз и не вынесшие из школы ни одной буквы; но вместе с ними здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика. Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках; тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Много было и таких, которые пришли на Сечь с тем, чтобы потом сказать, что они были на Сечи и уже закаленные рыцари. Но кого тут не было? Эта странная республика была именно потребностию того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показываться ни одна женщина.

Остапу и Андрию казалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечь гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил: откуда эти люди, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, из которого только за час пред тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил:

— Здравствуй! Что, во Христа веруешь?
— Верую! — отвечал приходивший.
— И в троицу святую веруешь?
— Верую!
— И в церковь ходишь?
— Хожу!
— А ну, перекрестись!
Пришедший крестился.
— Ну, хорошо,— отвечал кошевой,— ступай же в который сам знаешь курень.

Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что, как только у запорожцев неставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Сечь состояла из шестидесяти с лишком куреней, которые очень походили на отдельные, независимые республики, а еще более походили на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом. Никто ничем не заводился и не держал у себя. Все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название батька. У него были на руках деньги, платья, весь харч, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги под сохран. Нередко происходила ссора у куреней с куренями. В таком случае дело тот же час доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, пока одни не пересиливали наконец и не брали верх, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Сечь, имевшая столько приманок для молодых людей.

Остап и Андрий кинулись со всею пылкостию юношей в это разгульное море и забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало их: разгульные обы-

чаи Сечи и немногосложная управа и законы, которые казались им иногда даже слишком строгими среди такой своевольной республики. Если козак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему козачеству: его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которою всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть. Не платившего должника приковывали цепью к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него долг. Но более всего произвела впечатленья на Андрия страшная казнь, определенная за смертоубийство. Тут же, при нем, вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго потом все чудился ему страшный обряд казни и все представлялся этот заживо засыпанный человек вместе с ужасным гробом.

Скоро оба молодые козака стали на хорошем счету у козаков. Часто вместе с другими товарищами своего куреня, а иногда со всем куренем и с соседними куренями выступали они в степи для стрельбы несметного числа всех возможных степных птиц, оленей и коз или же выходили на озера, реки и протоки, отведенные по жребию каждому куреню, закидывать невода, сети и тащить богатые тони на продовольствие всего куреня. Хотя и не было тут науки, на которой пробуется козак, но они стали уже заметны между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всем. Бойко и метко стреляли в цель, переплывали Днепр против течения — дело, за которое новичок принимался торжественно в козацкие круги.

Но старый Тарас готовил другую им деятельность. Ему не по душе была такая праздная жизнь — настоящего дела хотел он. Он все придумывал, как бы поднять Сечь на отважное предприятие, где бы можно было разгуляться как следует рыцарю. Наконец в один день пришел к кошевому и сказал ему прямо:

— Что, кошевой, пора бы погулять запорожцам?

— Негде погулять,— отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув на сторону.

— Как негде? Можно пойти на Турещину или на Татарву.

— Не можно ни в Турещину, ни в Татарву,— отвечал кошевой, взявши опять хладнокровно в рот свою трубку.

— Как не можно?

— Так. Мы обещали султану мир.

— Да ведь он бусурмен: и бог и святое писание велит бить бусурменов.

— Не имеем права. Если б не клялись еще нашею верою, то, может быть, и можно было бы; а теперь нет, не можно.

— Как не можно? Как же ты говоришь: не имеем права? Вот у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не был на войне, а ты говоришь — не имеем права; а ты говоришь — не нужно идти запорожцам.

— Ну, уж не следует так.

— Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем, на какого черта мы живем? растолкуй ты мне это. Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кошевые, растолкуй ты мне, на что мы живем?

Кошевой не дал ответа на этот запрос. Это был упрямый козак. Он немного помолчал и потом сказал:

— А войне все-таки не бывать.

— Так не бывать войне? — спросил опять Тарас.

— Нет.

— Так уж и думать об этом нечего?

— И думать об этом нечего.

«Постой же ты, чертов кулак! — сказал Бульба про себя,— ты у меня будешь знать!» И положил тут же отмстить кошевому.

Сговорившися с тем и другим, задал он всем попойку, и хмельные козаки, в числе нескольких человек, повалили прямо на площадь, где стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на

раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полену в руки и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек с одним только глазом, несмотря, однако ж, на то, страшно заспанным.

— Кто смеет бить в литавры? — закричал он.

— Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят! — отвечали подгулявшие старшины.

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, — и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в кружок, и после третьего боя показались, наконец, старшины: кошевой с палицей в руке — знаком своего достоинства, судья с войсковою печатью, писарь с чернильницею и есаул с жезлом. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны козакам, которые гордо стояли, подпершись руками в бока.

— Что значит это собранье? Чего хотите, панове? — сказал кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

— Клади палицу! Клади, чертов сын, сей же час палицу! Не хотим тебя больше! — кричали из толпы козаки.

Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться; но курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими.

Кошевой хотел было говорить, но, зная, что разъярившаяся, своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палицу и скрылся в толпе.

— Прикажите, панове, и нам положить знаки достоинства? — сказали судья, писарь и есаул и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл.

— Нет, вы оставайтесь! — закричали из толпы, — нам нужно было только прогнать кошевого, потому что он баба, а нам нужно человека в кошевые.

— Кого же выберете теперь в кошевые? — сказали старшины.

— Кукубенка выбрать! — кричала часть.

— Не хотим Кукубенка! — кричала другая.— Рано ему, еще молоко на губах не обсохло!

— Шило пусть будет атаманом! — кричали одни.— Шила посадить в кошевые!

— В спину тебе шило! — кричала с бранью толпа.— Что он за козак, когда проворовался, собачий сын, как татарин? К черту в мешок пьяницу Шила!

— Бородатого, Бородатого посадим в кошевые!

— Не хотим Бородатого! К нечистой матери Бородатого!

— Кричите Кирдягу! — шепнул Тарас Бульба некоторым.

— Кирдягу! Кирдягу! — кричала толпа.— Бородатого! Бородатого! Кирдягу! Кирдягу! Шила! К черту с Шилом! Кирдягу!

Все кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участьем своим в избрании.

— Кирдягу! Кирдягу! — раздавалось сильнее прочих.— Бородатого!

Дело принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовал.

— Ступайте за Кирдягою! — закричали.

Человек десяток козаков отделилось тут же из толпы; некоторые из них едва держались на ногах — до такой степени успели нагрузиться,— и отправились прямо к Кирдяге, объявить ему о его избрании.

Кирдяга, хотя престарелый, но умный козак, давно уже сидел в своем курене и как будто бы не ведал ни о чем происходившем.

— Что, панове, что вам нужно? — спросил он.

— Иди, тебя выбрали в кошевые!..

— Помилосердствуйте, панове! — сказал Кирдяга.— Где мне быть достойну такой чести! Где мне быть кошевым! Да у меня и разума не хватит к отправленью такой должности. Будто уже никого лучшего не нашлось в целом войске?

— Ступай же, говорят тебе! — кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и как он ни упи-

рался ногами, но был, наконец, притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньем сзади кулаками, пинками и увещаньями.— Не пяться же, чертов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!

Таким образом введен был Кирдяга в козачий круг.

— Что, панове? — провозгласили во весь народ приведшие его.— Согласны ли вы, чтобы сей козак был у нас кошевым?

— Все согласны! — закричала толпа, и от крику долго гремело все поле.

Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз. Кирдяга отказался и в другой раз и потом уже, за третьим разом, взял палицу. Ободрительный крик раздался по всей толпе, и вновь далеко загудело от козацкого крика все поле. Тогда выступило из средины народа четверо самых старых, седоусых и седочупринных козаков (слишком старых не было на Сечи, ибо никто из запорожцев не умирал своею смертью) и, взявши каждый в руки земли, которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову. Стекла с головы его мокрая земля, потекла по усам и по щекам и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоял не сдвинувшись и благодарил козаков за оказанную честь.

Таким образом кончилось шумное избрание, которому, неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба: этим он отомстил прежнему кошевому; к тому же и Кирдяга был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах, деля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тут же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотоле Остап и Андрий. Винные шинки были разбиты; мед, горелка и пиво забирались просто, без денег; шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги. И взошедший месяц долго еще видел толпы музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами, круглыми балалайками, и церковных пе-

сельников, которых держали на Сечи для пенья в церкви и для восхваления запорожских дел. Наконец хмель и утомленье стали одолевать крепкие головы. И видно было, как то там, то в другом месте падал на землю козак. Как товарищ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вместе с ним. Там гурьбою улегалась целая куча; там выбирал иной, как бы получше ему улечься, и лег прямо на деревянную колоду. Последний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессвязные речи; наконец и того подкосила хмельная сила, и тот повалился — и заснула вся Сечь.

IV

А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым кошевым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кошевой был умный и хитрый козак, знал вдоль и поперек запорожцев и сначала сказал: «Не можно клятвы преступить, никак не можно». А потом, помолчавши, прибавил: «Ничего, можно; клятвы мы не преступим, а так кое-что придумаем. Пусть только соберется народ, да не то чтобы по моему приказу, а просто своею охотою. Вы уж знаете, как это сделать. А мы с старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем».

Не прошло часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Нашлись вдруг и хмельные и неразумные козаки. Миллион козацких шапок высыпал вдруг на площадь. Поднялся говор: «Кто?.. Зачем?.. Из-за какого дела пробили сбор?» Никто не отвечал. Наконец в том и в другом углу стало раздаваться: «Вот пропадает даром козацкая сила: нет войны!.. Вот старшины забайбачились наповал, позаплыли жиром очи!.. Нет, видно, правды на свете!» Другие козаки слушали сначала, а потом и сами стали говорить: «А и вправду нет никакой правды на свете!» Старшины казались изумленными от таких речей. Наконец кошевой вышел вперед и сказал:

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать!

— Держи!

— Вот в рассуждении того теперь идет речь, панове добродийство,— да вы, может быть, и сами лучше это знаете,— что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет. Потом опять в рассуждении того пойдет речь, что есть много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку,— и сами знаете, панове,— без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурмена?

«Он хорошо говорит»,— подумал Бульба.

— Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир: сохрани бог! Я только так это говорю. Притом же у нас храм божий — грех сказать, что такое: вот сколько лет уже, как, по милости божией, стоит Сечь, а до сих пор не то уже чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства. Хотя бы серебряную ризу кто догадался им выковать! Они только то и получили, что отказали в духовной иные козаки. Да и даяние их было бедное, потому что почти всё пропили еще при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурменами: мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему.

— Что ж он путает такое?— сказал про себя Бульба.

— Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Рыцарская честь не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых, пусть немного пошарпают берега Натолии. Как думаете, панове?

— Веди, веди всех! — закричала со всех сторон толпа.— За веру мы готовы положить головы!

Кошевой испугался; он ничуть не хотел подымать всего Запорожья: разорвать мир ему казалось в этом случае делом неправым.

— Позвольте, панове, еще одну речь держать!

— Довольно! — кричали запорожцы,— лучше не скажешь!

— Когда так, то пусть будет так. Я слуга вашей воли. Уж дело известное, и по писанью известно, что глас народа — глас божий. Уж умнее того нельзя выду-

мать, что весь народ выдумал. Только вот что: вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы тем временем были бы наготове, и силы у нас были бы свежие, и никого б не побоялись. А во время отлучки и татарва может напасть: они, турецкие собаки, в глаза не кинутся и к хозяину на дом не посмеют прийти, а сзади укусят за пяты, да и больно укусят. Да если уж пошло на то, чтобы говорить правду, у нас и челнов нет столько в запасе, да и пороху не намолото в таком количестве, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад: я слуга вашей воли.

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться; пьяных, к счастию, было немного, и потому решились послушаться благоразумного совета.

В тот же час отправились несколько человек на противуположный берег Днепра, в войсковую скарбницу, где, в неприступных тайниках, под водою и в камышах, скрывалась войсковая казна и часть добытых у неприятеля оружий. Другие все бросились к челнам, осматривать их и снаряжать в дорогу. Вмиг толпою народа наполнился берег. Несколько плотников явились с топорами в руках. Старые, загорелые, широкоплечие, дюженогие запорожцы, с проседью в усах и черноусые, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали челны с берега крепким канатом. Другие таскали готовые сухие бревна и всякие деревья. Там обшивали досками челн; там, переворотивши его вверх дном, конопатили и смолили; там увязывали к бокам других челнов, по козацкому обычаю, связки длинных камышей, чтобы не затопило челнов морскою волною; там, дальше по всему прибрежью, разложили костры и кипятили в медных казанах смолу на заливанье судов. Бывалые и старые поучали молодых. Стук и рабочий крик подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живой берег.

В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем толпа людей еще издали махала руками. Это были козаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд — у многих ничего не было, кроме



Тарас Бульба

Рисунок Е. Кибрика. 1952

рубашки и коротенькой трубки в зубах,— показывал, что они или только что избегнули какой-нибудь беды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на теле. Из среды их отделился и стал впереди приземистый, плечистый козак, человек лет пятидесяти. Он кричал и махал рукою сильнее всех, но за стуком и криками рабочих не было слышно его слов.

— А с чем приехали? — спросил кошевой, когда паром приворотил к берегу.

Все рабочие, остановив свои работы и подняв топоры и долота, смотрели в ожидании.

— С бедою! — кричал с парома приземистый козак.

— С какою?

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать?

— Говори!

— Или хотите, может быть, собрать раду?

— Говори, мы все тут.

Народ весь стеснился в одну кучу.

— А вы разве ничего не слыхали о том, что делается на гетьманщине?

— А что? — произнес один из куренных атаманов.

— Э! что? Видно, вам татарин заткнул клейтухом уши, что вы ничего не слыхали.

— Говори же, что там делается?

— А то делается, что и родились и крестились, еще не видали такого.

— Да говори нам, что делается, собачий сын! — закричал один из толпы, как видно потеряв терпение.

— Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь не наши.

— Как не наши?

— Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править.

— Что ты толкуешь?

— И если рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою на святой пасхе, то и святить пасхи нельзя.

— Врет он, паны-браты, не может быть того, чтобы нечистый жид клал значок на святой пасхе!

— Слушайте!.. еще не то расскажу: и ксендзы ездят теперь по всей Украйне в таратайках. Да не то беда, что

в таратайках, а то беда, что запрягают уже не коней, а просто православных христиан. Слушайте! еще не то расскажу: уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских риз. Вот какие дела водятся на Украйне, панове! А вы тут сидите на Запорожье да гуляете, да, видно, татарин такого задал вам страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей — ничего нет, и вы не слышите, что делается на свете.

— Стой, стой! — прервал кошевой, дотоле стоявший, потупив глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли грозную силу негодования. — Стой! и я скажу слово. А что ж вы — так бы и этак поколотил черт вашего батька! — что ж вы делали сами? Разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию?

— Э, как попустили такому беззаконию! А попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов! да и — нечего греха таить — были тоже собаки и между нашими, уж приняли их веру.

— А гетьман ваш, а полковники что делали?

— Наделали полковники таких дел, что не приведи бог и нам никому.

— Как?

— А так, что уж теперь гетьман, зажаренный в медном быке, лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам напоказ всему народу. Вот что наделали полковники!

Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчание, подобное тому, как бывает перед свирепою бурею, и потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег.

— Как! чтобы жиды держали на аренде христианские церкви! чтобы ксендзы запрягали в оглобли православных христиан! Как! чтобы попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков! чтобы вот так поступали с полковниками и гетьманом! Да не будет же сего, не будет!

Такие слова перелетали по всем концам. Зашумели запорожцы и почуяли свои силы. Тут уже не было волнений легкомысленного народа: волновались всё харак-

теры тяжелые и крепкие, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили в себе внутренний жар.

— Перевешать всю жидову! — раздалось из толпы.— Пусть же не шьют из поповских риз юбок своим жидовкам! Пусть же не ставят значков на святых пасхах! Перетопить их всех, поганцев, в Днепре!

Слова эти, произнесенные кем-то из толпы, пролетели молнией по всем головам, и толпа ринулась на предместье с желанием перерезать всех жидов.

Бедные сыны Израиля, растерявши всё присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок; но козаки везде их находили.

— Ясновельможные паны! — кричал один, высокий и длинный, как палка, жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом.— Ясновельможные паны! Слово только дайте нам сказать, одно слово! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!

— Ну, пусть скажут,— сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого.

— Ясные паны! — произнес жид.— Таких панов еще никогда не видывано. Ей-богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете!..— Голос его замирал и дрожал от страха.— Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши, те, что арендаторствуют на Украйне! Ей-богу, не наши! То совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?

— Ей-богу, правда! — отвечали из толпы Шлема и Шмуль в изодранных яломках, оба белые, как глина.

— Мы никогда еще,— продолжал длинный жид,— не снюхивались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим: пусть им черт приснится! Мы с запорожцами как братья родные...

— Как? чтобы запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы.— Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове! Всех потопить, поганцев!

Эти слова были сигналом. Жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, выскочил из кафтана, за который было его ухватили, в одном пегом и узком камзоле, схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил:

— Великий господин, ясновельможный пан! я знал и брата вашего, покойного Дороша! Был воин на украшение всему рыцарству. Я ему восемьсот цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плена у турка.

— Ты знал брата? — спросил Тарас.

— Ей-богу, знал! Великодушный был пан.

— А как тебя зовут?

— Янкель.

— Хорошо,— сказал Тарас и потом, подумав, обратился к козакам и проговорил так: — Жида будет всегда время повесить, когда будет нужно, а на сегодня отдайте его мне.— Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли козаки его.— Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись; а вы, братцы, не выпускайте жида.

Сказавши это, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили вмиг берег и снарядку челнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход, и не суда да козацкие чайки — попадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в поход, и старые и молодые; все, с совета всех старшин, куренных, кошевого и с воли всего запорожского войска, положили идти прямо на Польшу, отмстить за все зло и посрамленье веры и козацкой славы, набрать добычи с городов, зажечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу. Все тут же опоясывалось и вооружалось. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа; это был неограниченный повелитель. Это был деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда кошевой раздавал повеления; раздавал он

их тихо, не вскрикивая, не торопясь, но с расстановкою, как старый, глубоко опытный в деле козак, приводивший не в первый раз в исполненье разумно задуманные предприятия.

— Осмотритесь, все осмотритесь хорошенько! — так говорил он.— Исправьте возы и мазницы, испробуйте оружье. Не забирайте много с собой одежды: по сорочке и по двое шаровар на козака да по горшку саламаты и толченого проса — больше чтоб и не было ни у кого! Про запас будет в возах все, что нужно. По паре коней чтоб было у каждого козака. Да пар двести взять волов, потому что на переправах и топких местах нужны будут волы. Да порядку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, есть между вас такие, что, чуть бог пошлет какую корысть,— пошли тот же час драть китайку и дорогие оксамиты себе на онучи. Бросьте такую чертову повадку, прочь кидайте всякие юбки, берите одно только оружье, коли попадется доброе, да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае. Да вот вам, панове, вперед говорю: если кто в походе напьется, то никакого нет на него суда. Как собаку, за шеяку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был, хоть бы наидоблестнейший козак изо всего войска. Как собака, будет он застрелен на месте и кинут безо всякого погребенья на поклев птицам, потому что пьяница в походе недостоин христианского погребенья. Молодые, слушайте во всем старых! Если цапнет пуля или царапнет саблей по голове или по чему-нибудь иному, не давайте большого уваженья такому делу. Размешайте заряд пороху в чарке сивухи, духом выпейте, и все пройдет — не будет и лихорадки; а на рану, если она не слишком велика, приложите просто земли, замесивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнет рана. Нуте же, за дело, за дело, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дело!

Так говорил кошевой, и, как только окончил он речь свою, все козаки принялись тот же час за дело. Вся Сечь отрезвилась, и нигде нельзя было сыскать ни одного пьяного, как будто бы их не было никогда между козаками... Те исправляли ободья колес и переменяли оси в телегах; те сносили на возы мешки с провиантом, на

другие валили оружие; те пригоняли коней и волов. Со всех сторон раздавались топот коней, пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, бычачье мычанье, скрып поворачиваемых возов, говор и яркий крик и понуканье — и скоро далеко-далеко вытянулся козачий табор по всему полю. И много досталось бы бежать тому, кто бы захотел пробежать от головы до хвоста его. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою; все целовали крест. Когда тронулся табор и потянулся из Сечи, все запорожцы обратили головы назад.

— Прощай, наша мать! — сказали они почти в одно слово,— пусть же тебя хранит бог от всякого несчастья!

Проезжая предместье, Тарас Бульба увидел, что жидо́к его, Янкель, уже разбил какую-то ятку с навесом и продавал кремни, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. «Каков чертов жид!» — подумал про себя Тарас и, подъехав к нему на коне, сказал:

— Дурень, что ты здесь сидишь? Разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

Янкель в ответ на это подошел к нему поближе и, сделав знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственное, сказал:

— Пусть пан только молчит и никому не говорит: между козацкими возами есть один мой воз; я везу всякий нужный запас для козаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не продавал. Ей-богу, так; ей-богу, так.

Пожал плечами Тарас Бульба, подивившись бойкой жидовской натуре, и отъехал к табору.

V

Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха. Всюду пронеслись слухи: «Запорожцы!.. показались запорожцы!..» Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось и разбегалось по обычаю этого нестройного, беспечного века, когда не воздвигали ни

крепостей, ни замков, а как попало становил на время соломенное жилище свое человек. Он думал: «Не тратить же на избу работу и деньги, когда и без того будет она снесена татарским набегом!» Все всполошилось: кто менял волов и плуг на коня и ружье и отправлялся в полки; кто прятался, угоняя скот и унося, что только можно было унесть. Попадались иногда по дороге и такие, которые вооруженною рукою встречали гостей, но больше было таких, которые бежали заранее. Все знали, что трудно иметь дело с буйной и бранной толпой, известной под именем запорожского войска, которое в наружном своевольном неустройстве своем заключало устройство обдуманное для времени битвы. Конные ехали, не отягчая и не горяча коней, пешие шли трезво за возами, и весь табор подвигался только по ночам, отдыхая днем и выбирая для того пустыри, незаселенные места и леса, которых было тогда еще вдоволь. Засылаемы были вперед лазутчики и рассыльные узнавать и выведывать, где, что и как. И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг,— и все тогда прощалось с жизнью. Пожары обхватывали деревни; скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу,— словом, крупною монетою отплачивали козаки прежние долги. Прелат одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов, чтобы сказать, что они не так ведут себя, как следует; что между запорожцами и правительством стоит согласие; что они нарушают свою обязанность к королю, а с тем вместе и всякое народное право.

— Скажи епископу от меня и от всех запорожцев,— сказал кошевой,— чтобы он ничего не боялся. Это козаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки.

И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны

огня. Бегущие толпы монахов, жидов, женщин вдруг омноголюдили те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон и городовое рушение. Высылаемая временами правительством запоздалая помощь, состоявшая из небольших полков, или не могла найти их, или же робела, обращала тыл при первой встрече и улетала на лихих конях своих. Случалось, что многие военачальники королевские, торжествовавшие дотоле в прежних битвах, решались, соединя свои силы, стать грудью против запорожцев. И тут-то более всего пробовали себя наши молодые козаки, чуждавшиеся грабительства, корысти и бессильного неприятеля, горевшие желанием показать себя перед старыми, померяться один на один с бойким и хвастливым ляхом, красовавшимся на горделивом коне, с летавшими по ветру откидными рукавами епанчи. Потешна была наука. Много уже они добыли себе конной сбруи, дорогих сабель и ружей. В один месяц возмужали и совершенно переродились только что оперившиеся птенцы и стали мужами. Черты лица их, в которых доселе видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из первых. Остапу, казалось, был на роду написан битвенный путь и трудное знанье вершить ратные дела. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни от какого случая, с хладнокровием, почти неестественным для двадцатидвухлетнего, он в один миг мог вымерять всю опасность и все положение дела, тут же мог найти средство, как уклониться от нее, но уклониться с тем, чтобы потом верней преодолеть ее. Уже испытанной уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепостью дышало его тело, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу льва.

— О! да этот будет со временем добрый полковник! — говорил старый Тарас.— Ей-ей, будет добрый полковник, да еще такой, что и батька за пояс заткнет!

Андрий весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчитывать, или измерять заранее свои и чужие силы. Бешеную негу и упоенье он видел в битве: что-то

пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах все мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется как пьяный в свисте пуль, в сабельном блеске, и наносит всем удары, и не слышит нанесенных. Не раз дивился отец также и Андрию, видя, как он, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях. Дивился старый Тарас и говорил:

— И это добрый — враг бы не взял его! — вояка! не Остап, а добрый, добрый также вояка!

Войско решилось идти прямо на город Дубно, где, носились слухи, было много казны и богатых обывателей. В полтора дня поход был сделан, и запорожцы показались перед городом. Жители решились защищаться до последних сил и крайности и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в домы. Высокий земляной вал окружал город; где вал был ниже, там высовывалась каменная стена или дом, служивший батареей, или, наконец, дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал, но были встречены сильною картечью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучею на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное сопротивление; женщины тоже решились участвовать,— и на головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий вар и, наконец, мешки песку, слепившего им очи. Запорожцы не любили иметь дело с крепостями, вести осады была не их часть. Кошевой повелел отступить и сказал:

— Ничего, паны-братья, мы отступим. Но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из города! Пусть их все передохнут, собаки, с голоду!

Войско, отступив, облегло весь город и от нечего делать занялось опустошеньем окрестностей, выжигая окружные деревни, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутые серпом, где, как

нарочно, колебались тучные колосья, плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору щедро всех земледельцев. С ужасом видели с города, как истреблялись средства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и на Сечи, куренями, курили свои люльки, менялись добытым оружьем, играли в чехарду, в чет и нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город. Ночью зажигались костры. Кашевары варили в каждом курене кашу в огромных медных казанах. У горевших всю ночь огней стояла бессонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительною трезвостью, не сопряженною ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда водилось в войске, если не было трудных подвигов и движений. Молодым, и особенно сынам Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрий заметно скучал.

— Неразумная голова,— говорил ему Тарас.— Терпи, козак,— атаман будешь! Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, кто все вытерпит, и хоть ты ему что хочь, а он все-таки поставит на своем.

Но не сойтись пылкому юноше с старцем. Другая натура у обоих, и другими очами глядят они на то же дело.

А между тем подоспел Тарасов полк, приведенный Товкачем; с ним было еще два есаула, писарь и другие полковые чины; всех козаков набралось больше четырех тысяч. Было между ними немало и охочекомонных, которые сами поднялись, своею волею, без всякого призыва, как только услышали, в чем дело. Есаулы привезли сыновьям Тараса благословенье от старухи матери и каждому по кипарисному образу из Межигорского киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им и говорит это благословенье? Благословенье ли на победу над врагом и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой, на вечные песни бандуристам, или же?.. Но неизвестно будущее, и стоит оно пред человеком подобно осеннему туману, поднявшемуся из

болот. Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями, птицы, не распознавая в очи друг друга, голубка — не видя ястреба, ястреб — не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает он от своей погибели...

Остап уже занялся своим делом и давно отошел к куреням. Андрий же, сам не зная отчего, чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже козаки окончили свою вечерю, вечер давно потухнул; июльская чудная ночь обняла воздух; но он не отходил к куреням, не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую пред ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звёзды. Поле далеко было занято раскиданными по нем возами с висячими мазницами, облитыми дегтем, со всяким добром и провиантом, набранным у врага. Возле телег, под телегами и подале от телег — везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях: кто подмостив себе под голову куль, кто шапку, кто употребивши просто бок своего товарища. Сабля, ружье-самопал, короткочубучная трубка с медными бляхами, железными провертками и огнивом были неотлучно при каждом козаке. Тяжелые волы лежали, подвернувши под себя ноги, большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями, раскиданными по отлогостям поля. Со всех сторон из травы уже стал подыматься густой храп спящего воинства, на который отзывались с поля звонкими ржаньями жеребцы, негодующие на свои спутанные ноги. А между тем что-то величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это были зарева вдали догоравших окрестностей. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу; в другом, встретив что-то горючее и вдруг вырвавшись вихрем, оно свистело и летело вверх, под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. Там обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим, лилово-огненным светом спелые грроздия

слив или обращал в червонное золото там и там желтевшие груши, и тут же среди их чернело висевшее на стене здания или на древесном суку тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над огнем вились вдали птицы, казавшиеся кучею темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город, казалось, уснул. Шпицы, и кровли, и частокол, и стены его тихо вспыхивали отблесками отдаленных пожарищ. Андрий обошел козацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши саламаты и галушек во весь козацкий аппетит. Он подивился немного такой беспечности, подумавши: «Хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться». Наконец и сам подошел он к одному из возов, взлез на него и лег на спину, подложивши себе под голову сложенные назад руки; но не мог заснуть и долго глядел на небо. Оно все было открыто пред ним; чисто и прозрачно было в воздухе. Гущина звезд, составлявшая Млечный Путь, поясом переходившая по небу, вся была залита светом. Временами Андрий как будто позабывался, и какой-то легкий туман дремоты заслонял на миг пред ним небо, и потом оно опять очищалось и вновь становилось видно.

В это время, показалось ему, мелькнул пред ним какой-то странный образ человеческого лица. Думая, что это было простое обаяние сна, которое сейчас же рассеется, он открыл больше глаза свои и увидел, что к нему точно наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотрело прямо ему в очи. Длинные и черные, как уголь, волосы, неприбранные, растрепанные, лезли из-под темного, наброшенного на голову покрывала. И странный блеск взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заставили бы скорее подумать, что это был призрак. Он схватился невольно рукой за пищаль и произнес почти судорожно:

— Кто ты? Коли дух нечистый, сгинь с глаз; коли живой человек, не в пору завел шутку,— убью с одного прицела!

В ответ на это привидение приставило палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал вглядываться в него внимательней. По длинным

волосам, шее и полуобнаженной смуглой груди распознал он женщину. Но она была не здешняя уроженка. Все лицо было смугло, изнурено недугом; широкие скулы выступали сильно над опавшими под ними щеками; узкие очи подымались дугообразным разрезом кверху, и чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. Наконец он не вытерпел и спросил:

— Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или видел где-нибудь?

— Два года назад тому в Киеве.

— Два года назад... в Киеве...— повторил Андрий, стараясь перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней бурсацкой жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул во весь голос:

— Ты — татарка! служанка панночки, воеводиной дочки!..

— Чшш! — произнесла татарка, сложив с умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного вскрика, произведенного Андрием.

— Скажи, скажи, отчего, как ты здесь? — говорил Андрий, почти задыхаясь, шепотом, прерывавшимся всякую минуту от внутреннего волнения.— Где панночка? жива ли еще она?

— Она тут, в городе.

— В городе? — произнес он, едва опять не вскрикнувши, и почувствовал, что вся кровь вдруг прихлынула к сердцу.— Отчего ж она в городе?

— Оттого, что сам старый пан в городе. Он уже полтора года как сидит воеводой в Дубне.

— Что ж, она замужем? Да говори же, какая ты странная! что она теперь?..

— Она другой день ничего не ела.

— Как?..

— Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба, все давно едят одну землю.

Андрий остолбенел.

— Панночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне: «Ступай скажи рыцарю:

если он помнит меня, чтобы пришел ко мне; а не помнит — чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги. У него также есть старая мать, — чтоб ради ее дал хлеба!»

Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой груди козака.

— Но как же ты здесь? Как ты пришла?

— Подземным ходом.

— Разве есть подземный ход?

— Есть.

— Где?

— Ты не выдашь, рыцарь?

— Клянусь крестом святым!

— Спустясь в яр и перейдя проток, там, где тростник.

— И выходит в самый город?

— Прямо к городскому монастырю.

— Идем, идем сейчас!

— Но, ради Христа и святой Марии, кусок хлеба!

— Хорошо, будет. Стой здесь, возле воза, или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидит, все спят; я сейчас ворочусь.

И он отошел к возам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынешними козацкими биваками, суровой бранною жизнью, — все всплыло разом на поверхность, потопивши, в свою очередь, настоящее. Опять вынырнула перед ним, как из темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темноореховые волосы, курчаво распавшиеся по грудям, и все упругие, в согласном сочетанье созданные члены девического стана. Нет, они не погасли, не исчезали в груди его, они посторонились только, чтобы дать на время простор другим могучим движеньям; но часто, часто смущался ими глубокий сон молодого козака, и часто, проснувшись, лежал он без сна на одре, не умея истолковать тому причины.

Он шел, а биение сердца становилось сильнее, сильнее при одной мысли, что увидит ее опять, и дрожали мо-

лодые колени. Пришедши к возам, он совершенно позабыл, зачем пришел: поднес руку ко лбу и долго тер его, стараясь припомнить, что ему нужно делать. Наконец вздрогнул, весь исполнился испуга: ему вдруг пришло на мысль, что она умирает от голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов себе под руку, но подумал тут же, не будет ли эта пища, годная для дюжего, неприхотливого запорожца, груба и неприлична ее нежному сложению. Тут вспомнил он, что вчера кошевой попрекал кашеваров за то, что сварили за один раз всю гречневую муку на саламату, тогда как бы ее стало на добрых три раза. В полной уверенности, что он найдет вдоволь саламаты в казанах, он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кашевару их куреня, спавшему у двух десятиведерных казанов, под которыми еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих сил, чтобы все это съесть, тем более что в их курене считалось меньше людей, чем в других. Он заглянул в казаны других куреней — нигде ничего. Поневоле пришла ему в голову поговорка: «Запорожцы как дети: коли мало — съедят, коли много — тоже ничего не оставят». Что делать? Был, однако же, где-то, кажется на возу отцовского полка, мешок с белым хлебом, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на возу уже его не было: Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. Андрий схватил мешок одной рукой и дернул его вдруг так, что голова Остапа упала на землю, а он сам вскочил впросонках и, сидя с закрытыми глазами, закричал что было мочи: «Держите, держите чертова ляха! да ловите коня, коня ловите!» — «Замолчи, я тебя убью!» — закричал в испуге Андрий, замахнувшись на него мешком. Но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрий робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из козаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова, точно, приподнялась в ближнем курене и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две,

он наконец отправился с своею ношею. Татарка лежала, едва дыша.

— Вставай, идем! Все спят, не бойся! Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все?

Сказав это, он взвалил себе на спину мешки, стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки те хлеба, которые хотел было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев.

— Андрий! — сказал старый Бульба в то время, когда он проходил мимо его.

Сердце его замерло. Он остановился и, весь дрожа, тихо произнес:

— А что?

— С тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на все бока! Не доведут тебя бабы к добру! — Сказавши это, он оперся головою на локоть и стал пристально рассматривать закутанную в покрывало татарку.

Андрий стоял ни жив ни мертв, не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него, увидел, что уже старый Бульба спал, положив голову на ладонь.

Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татарку, она стояла пред ним, подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, помутившиеся, как у мертвеца. Он дернул за рукав ее, и оба пошли вместе, беспрестанно оглядываясь назад, и наконец опустились отлогостью в низменную лощину — почти яр, называемый в некоторых местах балками,— по дну которой лениво пресмыкался проток, поросший осокой и усеянный кочками. Опустясь в сию лощину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По крайней мере когда Андрий оглянулся, то увидел, что позади его крутою стеной, более чем в рост человека, вознеслась покатость. На вершине ее покачивалось несколько стебельков полевого былья, и над ними поднималась в небе луна в виде косвенно обращенного серпа

из яркого червонного золота. Сорвавшийся со степи ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. Но нигде не слышно было отдаленного петушьего крика: ни в городе, ни в разоренных окрестностях не оставалось давно ни одного петуха. По небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег, казавшийся выше бывшего у них назади и выступавший совершенным обрывом. Казалось, в этом месте был крепкий и надежный сам собою пункт городской крепости; по крайней мере земляной вал был тут ниже и не выглядывал из-за него гарнизон. Но зато подальше подымалась толстая монастырская стена. Обрывистый берег весь оброс бурьяном, и по небольшой лощине между им и протоком рос высокий тростник, почти в вышину человека. На вершине обрыва видны были остатки плетня, обличавшие когда-то бывший огород. Перед ним — широкие листы лопуха; из-за него торчала лебеда, дикий колючий бодяк и подсолнечник, подымавший выше всех их свою голову. Здесь татарка скинула с себя черевики и пошла босиком, подобрав осторожно свое платье, потому что место было топко и наполнено водою. Пробираясь меж тростником, остановились они перед наваленным хворостом и фашинником. Отклонив хворост, нашли они род земляного свода — отверстие, мало чем большее отверстия, бывающего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая; вслед за нею Андрий, нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться с своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте.

VI

Андрий едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркой и таща на себе мешки хлеба.

— Скоро нам будет видно,— сказала проводница,— мы подходим к месту, где поставила я светильник.

И точно, темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, где,

казалось, была часовня; по крайней мере к стене был приставлен узенький столик в виде алтарного престола, и над ним виден был почти совершенно изгладившийся, полинявший образ католической мадонны. Небольшая серебряная лампадка, перед ним висевшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла с земли оставленный медный светильник на тонкой высокой ножке, с висевшими вокруг ее на цепочках щипцами, шпилькой для поправления огня и гасильником. Взявши его, она зажгла его огнем от лампады. Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то набрасываясь темною, как уголь, тенью, напоминали собою картины Жерардо della notte. Свежее, кипящее здоровьем и юностью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность с изнуренным и бледным лицом его спутницы. Проход стал несколько шире, так что Андрию можно было пораспрямиться. Он с любопытством рассматривал сии земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры. Так же как и в пещерах киевских, тут видны были углубления в стенах и стояли кое-где гробы; местами даже попадались просто человеческие кости, от сырости сделавшиеся мягкими и рассыпавшиеся в муку. Видно, и здесь также были святые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений. Сырость местами была очень сильна: под ногами их иногда была совершенная вода. Андрий должен был часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутнице, которой усталость возобновлялась беспрестанно. Небольшой кусок хлеба, проглоченный ею, произвел только боль в желудке, отвыкшем от пищи, и она оставалась часто без движения по нескольку минут на одном месте.

Наконец перед ними показалась маленькая железная дверь. «Ну, слава богу, мы пришли»,— сказала слабым голосом татарка, приподняла руку, чтобы постучать,— и не имела сил. Андрий ударил вместо нее сильно в дверь; раздался гул, показавший, что за дверью был большой простор. Гул этот изменялся, встретив, как казалось, высокие своды. Через минуты две загремели ключи, и кто-то, казалось, сходил по лестнице. Наконец дверь отперлась; их встретил монах, стоявший на узень-

кой лестнице, с ключами и свечой в руках. Андрий невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в козаках, поступавших с ними бесчеловечней, чем с жидами. Монах тоже несколько отступил назад, увидев запорожского козака, но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило. Он посветил им, запер за ними дверь, ввел их по лестнице вверх, и они очутились под высокими темными сводами монастырской церкви. У одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленях священник и тихо молился. Около него с обеих сторон стояли также на коленях два молодые клирошанина в лиловых мантиях, с белыми кружевными шемизетками сверх их и с кадилами в руках. Он молился о ниспослании чуда: о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, об удалении искусителя, нашептывающего ропот и малодушный, робкий плач на земные несчастия. Несколько женщин, похожих на привидения, стояли на коленях, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинки стоявших перед ними стульев и темных деревянных лавок; несколько мужчин, прислонясь у колонн и пилястр, на которых возлегали боковые своды, печально стояли тоже на коленях. Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилося розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии; кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрий не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые рокоты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке.

В это время, почувствовал он, кто-то дернул его за

полу кафтана. «Пора!» — сказала татарка. Они перешли через церковь, не замеченные никем, и вышли потом на площадь, бывшую перед нею. Заря уже давно румянилась на небе: все возвещало восхождение солнца. Площадь, имевшая квадратную фигуру, была совершенно пуста; посредине ее оставались еще деревянные столики, показывавшие, что здесь был еще неделю, может быть, только назад рынок съестных припасов. Улица, которых тогда не мостили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругом небольшие каменные и глиняные, в один этаж, домы с видными в стенах деревянными сваями и столбами во всю их высоту, косвенно перекрещенные деревянными же брусьями, как вообще строили домы тогдашние обыватели, что можно видеть и поныне еще в некоторых местах Литвы и Польши. Все они были покрыты непомерно высокими крышами со множеством слуховых окон и отдушин. На одной стороне, почти близ церкви, выше других возносилось совершенно отличное от прочих здание, вероятно городовой магистрат или какое-нибудь правительственное место. Оно было в два этажа, и над ним вверху надстроен был в две арки бельведер, где стоял часовой; большой часовой циферблат вделан был в крышу. Площадь казалась мертвою, но Андрию почудилось какое-то слабое стенание. Рассматривая, он заметил на другой стороне ее группу из двух-трех человек, лежавших почти без всякого движения на земле. Он вперил глаза внимательней, чтобы рассмотреть, заснувшие ли это были, или умершие, и в это время наткнулся на что-то, лежавшее у ног его. Это было мертвое тело женщины, по-видимому жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя в искаженных, изможденных чертах ее нельзя было того видеть. На голове ее был красный шелковый платок; жемчуги или бусы в два ряда украшали ее наушники; две-три длинные, все в завитках, кудри выпадали из-под них на ее высохшую шею с натянувшимися жилами. Возле нее лежал ребенок, судорожно схвативший рукою за тощую грудь ее и скрутивший ее своими пальцами от невольной злости, не нашед в ней молока; он уже не плакал и не кричал, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что

он еще не умер или по крайней мере еще только готовился испустить последнее дыханье. Они поворотили в улицы и были остановлены вдруг каким-то беснующимся, который, увидев у Андрия драгоценную ношу, кинулся на него, как тигр, вцепился в него, крича: «Хлеба!» Но сил не было у него, равных бешенству; Андрий оттолкнул его: он полетел на землю. Движимый состраданием, он швырнул ему один хлеб, на который тот бросился, подобно бешеной собаке, изгрыз, искусал его и тут же, на улице, в страшных судорогах испустил дух от долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждом шагу поражали их страшные жертвы голода. Казалось, как будто, не вынося мучений в домах, многие нарочно выбежали на улицу: не ниспошлется ли в воздухе чего-нибудь, питающего силы. У ворот одного дома сидела старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла, или просто позабылась: по крайней мере она уже не слышала и не видела ничего и, опустив голову на грудь, сидела недвижимо на одном и том же месте. С крыши другого дома висело вниз на веревочной петле вытянувшееся, иссохшее тело. Бедняк не мог вынести до конца страданий голода и захотел лучше произвольным самоубийством ускорить конец свой.

При виде сих поражающих свидетельств голода Андрий не вытерпел не спросить татарку:

— Неужели они, однако ж, совсем не нашли, чем пробавить жизнь? Если человеку приходит последняя крайность, тогда, делать нечего, он должен питаться тем, чем дотоле брезгал; он может питаться теми тварями, которые запрещены законом, все может тогда пойти в снедь.

— Все переели,— сказала татарка,— всю скотину. Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас в городе никогда не водилось никаких запасов, все привозилось из деревень.

— Но как же вы, умирая такою лютою смертью, все еще думаете оборонить город?

— Да, может быть, воевода и сдал бы, но вчера утром полковник, который в Буджаках, пустил в город ястреба с запиской, чтобы не отдавали города; что он идет на выручку с полком, да ожидает только другого

полковника, чтоб идти обоим вместе. И теперь всякую минуту ждут их... Но вот мы пришли к дому.

Андрий уже издали видел дом, непохожий на другие и, как казалось, строенный каким-нибудь архитектором итальянским. Он был сложен из красивых тонких кирпичей в два этажа. Окна нижнего этажа были заключены в высоко выдавшиеся гранитные карнизы; верхний этаж состоял весь из небольших арок, образовавших галерею; между ними были видны решетки с гербами. На углах дома тоже были гербы. Наружная широкая лестница из крашеных кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лестницы сидело по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за стоявшие около них алебарды, а другою подпирали наклоненные свои головы и, казалось, таким образом, более походили на изваяния, чем на живые существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему: они не обратили даже внимания на то, кто всходил по лестнице. На верху лестницы они нашли богато убранного, всего с ног до головы вооруженного воина, державшего в руке молитвенник. Он было возвел на них истомленные очи, но татарка сказала ему одно слово, и он опустил их вновь в открытые страницы своего молитвенника. Они вступили в первую комнату, довольно просторную, служившую приемною или просто переднею. Она была наполнена вся сидевшими в разных положениях у стен солдатами, слугами, псарями, виночерпиями и прочей дворней, необходимою для показания сана польского вельможи как военного, так и владельца собственных поместьев. Слышен был чад погаснувшей свечи. Две другие еще горели в двух огромных, почти в рост человека, подсвечниках, стоявших посередине, несмотря на то что уже давно в решетчатое широкое окно глядело утро. Андрий уже было хотел идти прямо в широкую дубовую дверь, украшенную гербом и множеством резных украшений, но татарка дернула его за рукав и указала маленькую дверь в боковой стене. Этою вышли они в коридор и потом в комнату, которую он начал внимательно рассматривать. Свет, проходивший сквозь щель ставня, тронул кое-что: малиновый занавес, позолоченный карниз и живопись на

стене. Здесь татарка указала Андрию остаться, отворила дверь в другую комнату, из которой блеснул свет огня. Он услышал шепот и тихий голос, от которого все потряслось у него. Он видел сквозь растворившуюся дверь, как мелькнула быстро стройная женская фигура с длинною роскошною косою, упадавшею на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы он взошел. Он не помнил, как взошел и как затворилась за ним дверь. В комнате горели две свечи; лампада теплилась перед образом; под ним стоял высокий столик, по обычаю католическому, со ступеньками для преклонения коленей во время молитвы. Но не того искали глаза его. Он повернулся в другую сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась. И он остался также изумленным пред нею. Не такою воображал он ее видеть: это была не она, не та, которую он знал прежде; ничего не было в ней похожего на ту, но вдвое прекраснее и чудеснее была она теперь, чем прежде. Тогда было в ней что-то неконченное, недовершенное, теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти. Та была прелестная, ветреная девушка; эта была красавица — женщина во всей развившейся красе своей. Полное чувство выражалося в ее поднятых глазах, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успели в них высохнуть и облекли их блистающею влагою, проходившею душу. Грудь, шея и плечи заключились в те прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ее, теперь обратились в густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длине руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, все до одной изменились черты ее. Напрасно силился он в них отыскать хотя одну из тех, которые носились в его памяти, — ни одной! Как ни велика была ее бледность, но она не помрачила чудесной красы ее; напротив, казалось, как будто придала ей что-то стремительное, неотразимо победоносное. И ощутил Андрий в

своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед нею. Она, казалось, также была поражена видом козака, представшего во всей красе и силе юношеского мужества, который, казалось, и в самой неподвижности своих членов уже обличал развязную вольность движений; ясною твердостью сверкал глаз его, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загорелые щеки блистали всею яркостью девственного огня, и, как шелк, лоснился молодой черный ус.

— Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь, — сказала она, и весь колебался серебряный звук ее голоса. — Один бог может возблагодарить тебя; не мне, слабой женщине...

Она потупила свои очи; прекрасными снежными полукружьями надвинулись на них веки, окраенные длинными, как стрелы, ресницами. Наклонилося все чудесное лицо ее, и тонкий румянец оттенил его снизу. Ничего не умел сказать на это Андрий. Он хотел бы выговорить все, что ни есть на душе,— выговорить его так же горячо, как оно было на душе,— и не мог. Почувствовал он что-то заградившее ему уста: звук отнялся у слова; почувствовал он, что не ему, воспитанному в бурсе и в бранной кочевой жизни, отвечать на такие речи, и вознегодовал на свою козацкую натуру.

В это время вошла в комнату татарка. Она уже успела нарезать ломтями принесенный рыцарем хлеб, несла его на золотом блюде и поставила перед своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлеб и возвела очи на Андрия,— и много было в очах тех. Сей умиленный взор, выказавший изнеможенье и бессилье выразить обнявшие ее чувства, был более доступен Андрию, чем все речи. Его душе вдруг стало легко; казалось, все развязалось у него. Душевные движенья и чувства, которые дотоле как будто кто-то удерживал тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на воле и уже хотели излиться в неукротимые потоки слов, как вдруг красавица, оборотясь к татарке, беспокойно спросила:

— А мать? Ты отнесла ей?

— Она спит.

— А отцу?

— Отнесла. Он сказал, что придет сам благодарить рыцаря.

Она взяла хлеб и поднесла его ко рту. С неизъяснимым наслаждением глядел Андрий, как она ломала его блистающими пальцами своими и ела; и вдруг вспомнил о бесновавшемся от голода, который испустил дух в глазах его, проглотивши кусок хлеба. Он побледнел и, схватив ее за руку, закричал:

— Довольно! не ешь больше! Ты так долго не ела, тебе хлеб будет теперь ядовит.

И она опустила тут же свою руку, положила хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, смотрела ему в очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово... но не властны выразить ни резец, ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видится иной раз во взорах девы, нижé того умиленного чувства, которым объемлется глядящий в такие взоры девы.

— Царица! — вскрикнул Андрий, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков.— Что тебе нужно? чего ты хочешь? прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете,— я побегу исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек,— я сделаю, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко... но не в силах сказать того! У меня три хутора, половина табунов отцовских — мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она,— все мое. Такого ни у кого нет теперь у козаков наших оружия, как у меня: за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово или хотя только шевельнешь своею тонкою черною бровью! Но знаю, что, может быть, несу глупые речи, и некстати, и нейдет все это сюда, что не мне, проведшему жизнь в бурсе и на Запорожье, говорить так, как в обычае говорить там, где бывают короли, князья и все что ни есть лучшего в вельможном рыцарстве. Вижу, что ты иное творенье бога, нежели все мы, и далеки пред тобою все другие боярские жены и дочери-девы. Мы не

годимся быть твоими рабами, только небесные ангелы могут служить тебе.

С возрастающим изумлением, вся превратившись в слух, не проронив ни одного слова, слушала дева открытую сердечную речь, в которой, как в зеркале, отражалась молодая, полная сил душа. И каждое простое слово сей речи, выговоренное голосом, летевшим прямо с сердечного дна, было облечено в силу. И выдалось вперед все прекрасное лицо ее, отбросила она далеко назад досадные волосы, открыла уста и долго глядела с открытыми устами. Потом хотела что-то сказать и вдруг остановилась и вспомнила, что другим назначеньем ведется рыцарь, что отец, братья и вся отчизна его стоят позади его суровыми мстителями, что страшны облегшие город запорожцы, что лютой смерти обречены все они с своим городом... И глаза ее вдруг наполнились слезами; быстро она схватила платок, шитый шелками, набросила себе на лицо его, и он в минуту стал весь влажен; и долго сидела, забросив назад свою прекрасную голову, сжав белоснежными зубами свою прекрасную нижнюю губу,— как бы внезапно почувствовав какое укушение ядовитого гада,— и не снимая с лица платка, чтобы он не видел ее сокрушительной грусти.

— Скажи мне одно слово! — сказал Андрий и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от сего прикосновенья, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его.

Но она молчала, не отнимала платка от лица своего и оставалась неподвижна.

— Отчего же ты так печальна? Скажи мне, отчего ты так печальна?

Бросила прочь она от себя платок, отдернула налезавшие на очи длинные волосы косы своей и вся разлилася в жалостных речах, выговаривая их тихим-тихим голосом, подобно когда ветер, поднявшись прекрасным вечером, пробежит вдруг по густой чаще приводного тростника: зашелестят, зазвучат и понесутся вдруг унывно-тонкие звуки, и ловит их с непонятной грустью остановившийся путник, не чуя ни погасающего вечера, ни несущихся веселых песен народа, бредущего от по-

левых работ и жнив, ни отдаленного тарахтанья где-то проезжающей телеги.

— Не достойна ли я вечных сожалений? Не несчастна ли мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля пришлась на часть мне? Не лютый ли ты палач мой, моя свирепая судьба? Всех ты привела к ногам моим: лучших дворян изо всего шляхетства, богатейших панов, графов и иноземных баронов и все, что ни есть цвет нашего рыцарства. Всем им было вольно любить меня, и за великое благо всякий из них почел бы любовь мою. Стоило мне только махнуть рукой, и любой из них, красивейший, прекраснейший лицом и породою, стал бы моим супругом. И ни к одному из них не причаровала ты моего сердца, свирепая судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо лучших витязей земли нашей, к чуждому, к врагу нашему. За что же ты, пречистая божья матерь, за какие грехи, за какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня? В изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои; лучшие, дорогие блюда и сладкие вина были мне снедью. И на что все это было? к чему оно все было? К тому ли, чтобы наконец умереть лютою смертью, какой не умирает последний нищий в королевстве? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь; мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, для спасенья которых двадцать раз готова бы была отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобы перед концом своим мне довелось увидать и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он речами своими разодрал на части мое сердце, чтобы горькая моя участь была еще горше, чтобы еще жалче было мне моей молодой жизни, чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя — прости мое прегрешение,— святая божья матерь!

И когда затихла она, безнадежное, безнадежное чувство отразилось в лице ее; ноющею грустью заговорила всякая черта его, и все, от печально поникшего лба и опустившихся очей до слез, застывших и засохнувших по тихо пламеневшим щекам ее,— все, казалось, говорило: «Нет счастья на лице сем!»

— Не слыхано на свете, не можно, не быть тому,— говорил Андрий,— чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы пред ней, как пред святыней, преклонилось все, что ни есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь! Не тебе умирать! Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь! Если же выйдет уже так и ничем — ни силой, ни молитвой, ни мужеством — нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе; и прежде я умру, умру перед тобой, у твоих прекрасных коленей, и разве уже мертвого меня разлучат с тобою.

— Не обманывай, рыцарь, и себя и меня,— говорила она, качая тихо прекрасной головой своей,— знаю и, к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы — враги тебе.

— А что мне отец, товарищи и отчизна? — сказал Андрий, встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречная осокорь, стан свой.— Так если ж так, так вот что: нет у меня никого! Никого, никого!— повторил он тем же голосом и сопроводив его тем движеньем руки, с каким упругий, несокрушимый козак выражает решимость на дело, неслыханное и невозможное для другого.— Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из козаков вырвет ее оттуда! И все, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!

На миг остолбенев, как прекрасная статуя, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала, и с чудною женскою стремительностью, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею, обхватив его снегоподобными, чудными руками, и зарыдала. В это время раздались на улице неясные крики, сопровожденные трубным и литаврным звуком. Но он не слышал их. Он слышал только, как чудные уста обдавали его благовонной теплотой своего дыханья, как слезы ее текли ручьями к нему на лицо и спустившиеся

все с головы пахучие ее волосы опутали его всего своим темным и блистающим шелком.

В это время вбежала к ним с радостным криком татарка.

— Спасены, спасены! — кричала она, не помня себя.— Наши вошли в город, привезли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев.

Но не слышал никто из них, какие «наши» вошли в город, что привезли с собою и каких связали запорожцев. Полный не на земле вкушаемых чувств, Андрий поцеловал в сии благовонные уста, прильнувшие к щеке его, и небезответны были благовонные уста. Они отозвались тем же, и в сем обоюднослиянном поцелуе ощутилось то, что один только раз в жизни дается чувствовать человеку.

И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви божьей! Украйне не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клок волос из своей чуприны и проклянет и день и час, в который породил на позор себе такого сына.

VII

Шум и движение происходили в запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного отчета, как случилось, что войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь Переяславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян мертвецки; стало быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана прежде, чем все могли узнать, в чем дело. Покамест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем, и когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал:

— Так вот что, панове-братове, случилось в эту ночь. Вот до чего довел хмель! Вот какое поруганье оказал нам неприятель! У вас, видно, уже такое заведение: коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите.

Козаки все стояли понурив головы, зная вину; один только незамайковский куренной атаман Кукубенко отозвался.

— Постой, батько! — сказал он.— Хоть оно и не в законе, чтобы сказать какое возражение, когда говорит кошевой перед лицом всего войска, да дело не так было, так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул все христианское войско. Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной, тяжкой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержанья не было: как же может статься, чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пят не унесут домой.

Речь куренного атамана понравилась козакам. Они приподняли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, примолвивши: «Добре сказал Кукубенко!» А Тарас Бульба, стоявший недалеко от кошевого, сказал:

— А что, кошевой, видно Кукубенко правду сказал? Что ты скажешь на это?

— А что скажу? Скажу: блажен и отец, родивший такого сына! Еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но бо́льшая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедою человека, ободрило бы его, придало бы духу ему, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде.

«Добре сказал и кошевой!» — отозвалось в рядах запорожцев. «Доброе слово!» — повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сизые голуби, и те кивнули

головою и, моргнувши седым усом, тихо сказали: «Добре сказанное слово!»

— Слушайте же, панове! — продолжал кошевой.— Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные, немецкие мастера,— пусть ей враг прикинется! — и неприлично, и не козацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом; телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный; стало быть, все съест духом, да и коням тоже сена... уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой... только про это еще бог знает; а ксендзы-то их горазды на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Дядькивский и Корсунский курень на засаду! Полковник Тарас с полком на засаду! Тытаревский и Тымошевский курень на запас, с правого бока обоза! Щербиновский и Стебликивский верхний — с левого боку! Да выбирайтесь из ряду, молодцы, которые позубастее на слово, задирать неприятеля! У ляха пустоголовая натура: брани не вытерпит; и, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Куренные атаманы, перегляди всякий курень свой: у кого недочет, пополни его останками Переяславского. Перегляди всё снова! Дать на опохмел всем по чарке и по хлебу на козака! Только, верно, всякий еще вчерашним сыт, ибо, некуда деть правды, понаедались все так, что дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да вот еще один наказ: если кто-нибудь, шинкарь, жид, продаст козаку хоть один кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо, собаке, и повешу ногами вверх! За работу же, братцы! За работу!

Так распоряжал кошевой, и все поклонились ему в пояс и, не надевая шапок, отправились по своим возам и таборам и, когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали порох из мешков в пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрий: полонили ли его вместе с

другими и связали сонного? Только нет, не таков Андрий, чтобы отдался живым в плен. Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени.

— Кому нужно меня? — сказал он, наконец очнувшись.

Перед ним стоял жид Янкель.

— Пан полковник, пан полковник! — говорил жид поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел объявить дело не совсем пустое.— Я был в городе, пан полковник!

Тарас посмотрел на жида и подивился тому, что он уже успел побывать в городе.

— Какой же враг тебя занес туда?

— Я тотчас расскажу,— сказал Янкель. —Как только услышал я на заре шум и козаки стали стрелять, я ухватил кафтан и, не надевая его, побежал туда бегом; дорогою уже надел его в рукава, потому что хотел поскорей узнать, отчего шум, отчего козаки на самой заре стали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам в то время, когда последнее войско входило в город. Гляжу — впереди отряда пан хорунжий Галяндович. Он человек мне знакомый: еще с третьего года задолжал сто червонных. Я за ним, будто бы затем, чтобы выправить с него долг, и вошел вместе с ними в город.

— Как же ты: вошел в город, да еще и долг хотел выправить? — сказал Бульба.— И не велел он тебя тут же повесить, как собаку?

— А ей-богу, хотел повесить,— отвечал жид,— уже было его слуги совсем схватили меня и закинули веревку на шею, но я взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет, и пообещал еще дать взаймы, как только поможет мне собрать долги с других рыцарей; ибо у пана хорунжего —я все скажу пану— нет и одного червонного в кармане. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самого Шклова, а грошей у него так, как у козака,— ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жиды, не в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на сейме оттого не был...

— Что ж ты делал в городе? Видел наших?

— Как же! Наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор...

— Пропади они, собаки! — вскрикнул, рассердившись, Тарас.— Что ты мне тычешь свое жидовское племя! Я тебя спрашиваю про наших запорожцев.

— Наших запорожцев не видал. А видал одного пана Андрия.

— Андрия видел? — вскрикнул Бульба.— Что ж ты, где видел его? в подвале? в яме? обесчещен? связан?

— Кто же бы смел связать пана Андрия? Теперь он такой важный рыцарь... Далибуг, я не узнал! И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и зерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото. Так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего под верх; два ста червонных стоит один конь.

Бульба остолбенел.

— Зачем же он надел чужое одеянье?

— Потому что лучше, потому и надел... И сам разъезжает, и другие разъезжают; и он учит, и его учат. Как наибогатейший польский пан!

— Кто ж его принудил?

— Я ж не говорю, чтобы его кто принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним?

— Кто перешел?

— А пан Андрий.

— Куда перешел?

— Перешел на их сторону, он уж теперь совсем их-ний.

— Врешь, свиное ухо!

— Как же можно, чтобы я врал? Дурак я разве, чтобы врал? На свою бы голову я врал? Разве я не знаю, что жида повесят, как собаку, коли он соврет перед паном?

— Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру?

— Я же не говорю этого, чтобы он продавал что: я сказал только, что он перешел к ним.

— Врешь, чертов жид! Такого дела не было на христианской земле! Ты путаешь, собака!

— Пусть трава порастет на пороге моего дома, если я путаю! Пусть всякий наплюет на могилу отца, матери, свекора, и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, и отчего он перешел к ним.

— Отчего?

— У воеводы есть дочка-красавица. Святой боже, какая красавица!

Здесь жид постарался, как только мог, выразить в лице своем красоту, расставив руки, прищурив глаз и покрививши набок рот, как будто чего-нибудь отведавши.

— Ну, так что же из того?

— Он для нее и сделал все и перешел. Коли человек влюбится, то он все равно что подошва, которую, коли размочишь в воде, возьми согни — она и согнется.

Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что многих сильных погубляла она, что податлива с этой стороны природа Андрия; и стоял он долго как вкопанный на одном и том же месте.

— Слушай, пан, я все расскажу пану,— говорил жид.— Как только услышал я шум и увидел, что проходят в городские ворота, я схватил на всякий случай с собой нитку жемчуга, потому что в городе есть красавицы и дворянки, а коли есть красавицы и дворянки, сказал я себе, то хоть им и есть нечего, а жемчуг все-таки купят. И как только хорунжего слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг и расспросил все у служанки-татарки. «Будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев. Пан Андрий обещал прогнать запорожцев».

— И ты не убил тут же на месте его, чертова сына?— вскрикнул Бульба.

— За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешел.

— И ты видел его в самое лицо?

— Ей-богу, в самое лицо! Такой славный вояка! Всех взрачней. Дай бог ему здоровья, меня тотчас узнал; и когда я подошел к нему, тотчас сказал...

— Что ж он сказал?

— Он сказал... прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал: «Янкель!» А я: «Пан Андрий!» — говорю. «Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец — теперь не отец мне, брат — не брат, товарищ — не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми. Со всеми буду биться!»

— Врешь, чертов Иуда! — закричал, вышед из себя, Тарас.— Врешь, собака! Ты и Христа распял, проклятый богом человек! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то — тут же тебе и смерть! — И сказавши это, Тарас выхватил свою саблю.

Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие, сухие икры. Долго еще бежал он без оглядки между козацким табором и потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался за ним, размыслив, что неразумно вымещать запальчивость на первом подвернувшемся.

Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрия, проходившего по табору с какой-то женщиною, и поник седою головою, а все еще не хотел верить, чтобы могло случиться такое позорное дело и чтобы собственный сын его продал веру и душу.

Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще козаками. А запорожцы, и пешие и конные, выступали на три дороги к трем воротам. Один за другим валили курени: Уманский, Поповичевский, Каневский, Стебликивский, Незамайковский, Гургузив, Тытаревский, Тымошевский. Одного только Переяславского не было. Крепко курнули козаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный во вражьих руках, кто, и совсем не просыпаясь, сонный перешел в сырую землю, и сам атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства, очутился в ляшском стану.

В городе услышали козацкое движенье. Все высыпали на вал, и предстала пред козаков живая картина: польские витязи, один другого красивей, стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнца, оперенные белыми, как лебедь, перьями. На других были легкие шапочки, розовые и голубые, с перегнутыми набекрень вер-

хами; кафтаны с откидными рукавами, шитые и золотом и просто выложенные шнурками; у тех сабли и ружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны,— и много было всяких других убранств. Напереди стоял спесиво, в красной шапке, убранной золотом, буджаковский полковник. Грузен был полковник, всех выше и толще, и широкий дорогой кафтан в силу облекал его. На другой стороне, почти к боковым воротам, стоял другой полковник, небольшой человек, весь высохший; но малые зоркие очи глядели живо из-под густо наросших бровей, и оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанья; видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял хорунжий, длинный-длинный, с густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка в краске на лице: любил пан крепкие меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что ни нашлось в дедовских за́мках. Немало было и всяких сенаторских нахлебников, которых брали с собою сенаторы на обеды для почета, которые крали со стола и из буфетов серебряные кубки и после сегодняшнего почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Много всяких было там. Иной раз и выпить было не на что, а на войну все принарядились.

Козацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятях и ружейных оправах. Не любили козаки богато выряжаться на битвах; простые были на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и червонели черные, червоноверхие бараньи их шапки.

Два козака выехало вперед из запорожских рядов. Один еще совсем молодой, другой постарее, оба зубастые на слова, на деле тоже не плохие козаки: Охрим Наш и Мыкыта Голокопытенко. Следом за ними выехал и Демид Попович, коренастый козак, уже давно маячивший на Сечи, бывший под Адрианополем и много натерпевшийся на веку своем: горел в огне и прибежал на Сечь с обсмаленною, почерневшею головою и выгоревшими уса-

ми. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец, вырастил усы, густые и черные как смоль. И крепок был на едкое слово Попович.

— А, красные жупаны на всем войске, да хотел бы я знать, красная ли сила у войска?

— Вот я вас! — кричал сверху дюжий полковник,— всех перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видели, как перевязал я ваших? Выведите им на вал запорожцев!

И вывели на вал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был куренной атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства,— так, как схватили его хмельного. И потупил в землю голову атаман, стыдясь наготы своей перед своими же козаками и того, что попал в плен, как собака, сонный. В одну ночь поседела крепкая голова его.

— Не печалься, Хлиб! Выручим! — кричали ему снизу козаки.

— Не печалься, друзьяка! — отозвался куренной атаман Бородатый.— В том нет вины твоей, что схватили тебя нагого. Беда может быть со всяким человеком; но стыдно им, что выставили тебя на позор, не прикрывши прилично наготы твоей.

— Вы, видно, на сонных людей храброе войско! — говорил, поглядывая на вал, Голокопытенко.

— Вот, погодите, обрежем мы вам чубы! — кричали им сверху.

— А хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы! — говорил Попович, поворотившись перед ними на коне. И потом, поглядевши на своих, сказал: — А что ж? Может быть, ляхи и правду говорят. Коли выведет их вон тот пузатый, им всем будет добрая защита.

— Отчего ж, ты думаешь, будет им добрая защита? — сказали козаки, зная, что Попович, верно, уже готовился что-нибудь отпустить.

— А оттого, что позади его упрячется все войско, и уж черта с два из-за его пуза достанешь которого-нибудь копьем!

Все засмеялись козаки. И долго многие из них еще покачивали головою, говоря: «Ну уж Попович! Уж коли кому закрутит слово, так только ну...» Да уж и не сказали козаки, что такое «ну».

— Отступайте, отступайте скорей от стен! — закричал кошевой. Ибо ляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой.

Едва только посторонились козаки, как грянули с валу картечью. На валу засуетились, показался сам седой воевода на коне. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехали ровным конным строем шитые гусары. За ними кольчужники, потом латники с копьями, потом все в медных шапках, потом ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один с своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал хорунжий; за ним опять ряды, и выехал дюжий полковник; а позади всего уже войска выехал последним низенький полковник.

— Не давать им, не давать им строиться и становиться в ряды! — кричал кошевой.— Разом напирайте на них все курени! Оставляйте прочие ворота! Тытаревский курень, нападай сбоку! Дядькивский курень, нападай с другого! Напирайте на тыл, Кукубенко и Палывода! Мешайте, мешайте и розните их!

И ударили со всех сторон козаки, сбили и смешали их, и сами смешались. Не дали даже и стрельбы произвести; пошло дело на мечи да на копья. Все сбились в кучу, и каждому привел случай показать себя. Демид Попович трех заколол простых и двух лучших шляхтичей сбил с коней, говоря: «Вот добрые кони! Таких коней я давно хотел достать!» И выгнал коней далеко в поле, крича стоявшим козакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней шляхтичей, одного убил, а другому накинул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, снявши с него саблю с дорогою рукоятью и отвязавши от пояса целый черенок с червонцами. Кобита, добрый козак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске, и долго бились они. Сошлись уже в рукопашный. Одолел было уже козак и, сломивши, ударил вострым турецким ножом в грудь, но не уберегся сам. Тут же в висок хлопнула его горячая пуля. Свалил его знатнейший из панов, красивейший и древнего княжеского

роду рыцарь. Как стройный тополь, носился он на буланом коне своем. И много уже показал боярской богатырской удали: двух запорожцев разрубил надвое; Федора Коржа, доброго козака, опрокинул вместе с конем, выстрелил по коню и козака достал из-за коня копьем; многим отнес головы и руки и повалил козака Кобиту, вогнавши ему пулю в висок.

— Вот с кем бы я хотел попробовать силы! — закричал незамайковский куренной атаман Кукубенко. Припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и стать ему в лицо; но не послушался конь: испуганный страшным криком, метнулся на сторону, и достал его ружейною пулею Кукубенко. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля, и свалился он с коня. Но и тут не поддался лях, все еще силился нанести врагу удар, но ослабела упавшая вместе с саблею рука. А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые побледневшие уста. Вышиб два сахарные зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь обшитый золотом желтый кафтан его. А Кукубенко уже кинул его и пробился с своими незамайковцами в другую кучу.

— Эх, оставил неприбранным такое дорогое убранство! — сказал уманский куренной Бородатый, отъехавши от своих к месту, где лежал убитый Кукубенком шляхтич.— Я семерых убил шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видел ни на ком.

И польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных каменьев, отвязал от пояса черенок с червонцами, снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девическою кудрею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышал Бородатый, как налетел на него сзади красноносый хорунжий, уже раз сбитый им с седла и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он со всего плеча и ударил его

саблей по нагнувшейся шее. Не к добру повела корысть козака: отскочила могучая голова, и упал обезглавленный труп, далеко вокруг оросивши землю. Понеслась к вышинам суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя, и вместе с тем дивуясь, что так рано вылетела из такого крепкого тела. Не успел хорунжий ухватить за чуб атаманскую голову, чтобы привязать ее к седлу, а уж был тут суровый мститель.

Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными крылами, вдруг останавливается распластанный на одном месте и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца-перепела,— так Тарасов сын, Остап, налетел вдруг на хорунжего и сразу накинул ему на шею веревку. Побагровело еще сильнее красное лицо хорунжего, когда затянула ему горло жестокая петля; схватился он было за пистолет, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрела, и даром полетела в поле пуля. Остап тут же, у его же седла, отвязал шелковый шнур, который возил с собою хорунжий для вязания пленных, и его же шнуром связал его по рукам и по ногам, прицепил конец веревки к седлу и поволок его через поле, сзывая громко всех козаков Уманского куреня, чтобы шли отдать последнюю честь атаману.

Как услышали уманцы, что куренного их атамана Бородатого нет уже в живых, бросили поле битвы и прибежали прибрать его тело; и тут же стали совещаться, кого выбрать в куренные. Наконец сказали:

— Да на что совещаться? Лучше не можно поставить в куренные, как Бульбенка Остапа. Он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у старого человека.

Остап, сняв шапку, всех поблагодарил козаков-товарищей за честь, не стал отговариваться ни молодостью, ни молодым разумом, зная, что время военное и не до того теперь, а тут же повел их прямо на кучу и уж показал им всем, что недаром выбрали его в атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дело слишком жарко, отступили и перебежали поле, чтоб собраться на другом конце его. А низенький полковник махнул на стоявшие отдельно, у самых ворот, четыре свежих сотни, и грянули оттуда картечью в козацкие кучи. Но мало

кого достали: пули хватили по быкам козацким, дико глядевшим на битву. Взревели испуганные быки, поворотили на козацкие таборы, переломали возы и многих перетоптали. Но Тарас в это время, вырвавшись из засады с своим полком, с криком бросился навпереймы. Поворотило назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулось на ляшские полки, опрокинуло конницу, всех смяло и рассыпало.

— О, спасибо вам, волы!— кричали запорожцы,— служили всё походную службу, а теперь и военную сослужили! — И ударили с новыми силами на неприятеля.

Много тогда перебили врагов. Многие показали себя: Метелыця, Шило, оба Пысаренки, Вовтузенко, и немало было всяких других. Увидели ляхи, что плохо наконец приходит, выкинули хоругвь и закричали отворять городские ворота. Со скрыпом отворились обитые железом ворота и приняли толпившихся, как овец в овчарню, изнуренных и покрытых пылью всадников. Многие из запорожцев погнались было за ними, но Остап своих уманцев остановил, сказавши: «Подальше, подальше, паны-братья, от стен! Не годится близко подходить к ним». И правду сказал, потому что со стен грянули и посыпали всем чем ни попало, и многим досталось. В это время подъехал кошевой и похвалил Остапа, сказавши: «Вот и новый атаман, а ведет войско так, как бы и старый!» Оглянулся старый Бульба поглядеть, какой там новый атаман, и увидел, что впереди всех уманцев сидел на коне Остап, и шапка заломлена набекрень, и атаманская палица в руке. «Вишь ты какой!» — сказал он, глядя на него; и обрадовался старый, и стал благодарить всех уманцев за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь идти к таборам, а на городском валу вновь показались ляхи, уже с изорванными епанчами. Запеклася кровь на многих дорогих кафтанах, и пылью покрылися красивые медные шапки.

— Что, перевязали? — кричали им снизу запорожцы.

— Вот я вас! — кричал все так же сверху толстый полковник, показывая веревку.

И все еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины, и все, бывшие позадорнее, перекинулись с обеих сторон бойкими словами.

Наконец разошлись все. Кто расположился отдыхать, истомившись от боя; кто присыпал землей свои раны и драл на перевязки платки и дорогие одежды, снятые с убитого неприятеля. Другие же, которые были посвежее, стали прибирать тела и отдавать им последнюю почесть. Палашами и копьями копали могилы; шапками, полами выносили землю; сложили честно козацкие тела и засыпали их свежею землею, чтобы не досталось вóронам и хищным орлам выклевывать им очи. А ляшские тела, увязавши как попало десятками к хвостам диких коней, пустили их по всему полю и долго потом гнались за ними и хлестали их по бокам. Летели бешеные кони по бороздам, буграм, через рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахом ляшские трупы.

Потом сели кругами все курени вечерять и долго говорили о делах и подвигах, доставшихся в удел каждому, на вечный рассказ пришельцам и потомству. Долго не ложились они. А долее всех не ложился старый Тарас, все размышляя, что бы значило, что Андрия не было между вражьих воев. Посовестился ли Иуда выйти противу своих, или обманул жид, и попался он просто в неволю? Но тут же вспомнил он, что не в меру было наклончиво сердце Андрия на женские речи, почувствовал скорбь и заклялся сильно в душе против полячки, причаровавшей его сына. И выполнил бы он свою клятву: не поглядел бы на ее красоту, вытащил бы ее за густую, пышную косу, поволок бы ее за собою по всему полю, между всех козаков. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ее чудные груди и плечи, блеском равные нетающим снегам, покрывающим горные вершины; разнес бы по частям он ее пышное, прекрасное тело. Но не ведал Бульба того, что готовит бог человеку завтра, и стал позабываться сном, и наконец заснул.

А козаки все еще говорили промеж собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во все концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.

VIII

Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из Сечи пришла весть, что татары во время отлучки козаков ограбили в ней все, вырыли скарб, который втайне держали козаки под землею, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к Перекопу. Один только козак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук, заколол мирзу, отвязал у него мешок с цехинами и на татарском коне, в татарской одежде полтора дни и две ночи уходил от погони, загнал насмерть коня, пересел дорогою на другого, загнал и того, и уже на третьем приехал в запорожский табор, разведав на дороге, что запорожцы были под Дубном. Только и успел объявить он, что случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшиеся запорожцы, по козацкому обычаю, и пьяными отдались в плен, и как узнали татары место, где был зарыт войсковой скарб,— того ничего не сказал он. Сильно истомился козак, распух весь, лицо пожгло и опалило ему ветром; упал он тут же и заснул крепким сном.

В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту ж минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острову, и бог знает в каких местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот отчего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но совещаться, как ровные между собою.

— Давай совет прежде старшие! — закричали в толпе.

— Давай совет кошевой! — говорили другие.

И кошевой снял шапку, уж не так, как начальник, а как товарищ, благодарил всех козаков за честь и сказал:

— Много между нами есть старших и советом умнейших, но коли меня почтили, то мой совет: не терять, товарищи, времени и гнаться за татарином. Ибо вы сами

знаете, что за человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его, так что и следов не найдешь. Так мой совет: идти. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое козаки; за веру, сколько было по силам, отмстили; корысти же с голодного города не много. Итак, мой совет — идти.

— Идти! — раздалось голосно в запорожских куренях.

Но Тарасу Бульбе не пришлись по душе такие слова, и навесил он еще ниже на очи свои хмурые, исчерна-белые брови, подобные кустам, выросшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней.

— Нет, не прав совет твой, кошевой!— сказал он.— Ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтоб мы не уважили первого, святого закона товарищества: оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них с живых содрали кожу или, исчетвертовав на части козацкое их тело, развозили бы их по городам и селам, как сделали они с гетьманом и лучшими русскими витязями на Украйне. Разве мало они поругались и без того над святынею? Что ж мы такое? спрашиваю я всех вас. Что ж за козак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий ни во что ставит козацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекнуть себя обидным словом, так не укорит же никто меня. Один остаюсь!

Поколебались все стоявшие запорожцы.

— А разве ты позабыл, бравый полковник,— сказал тогда кошевой,— что у татар в руках тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам, что хуже всякой лютой смерти? Позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая христианскою кровью?

Задумались все козаки и не знали, что сказать. Никому не хотелось из них заслужить обидную славу. Тогда вышел вперед всех старейший годами во всем запорож-

ском войске Касьян Бовдюг. В чести был он от всех козаков; два раза уже был избираем кошевым и на войнах тоже был сильно добрый козак, но уже давно состарелся и не бывал ни в каких походах; не любил тоже и советов давать никому, а любил старый вояка лежать на боку у козацких кругов, слушая рассказы про всякие бывалые случаи и козацкие походы. Никогда не вмешивался он в их речи, а все только слушал да прижимал пальцем золу в своей коротенькой трубке, которой не выпускал изо рта, и долго сидел он потом, прижмурив слегка очи; и не знали козаки, спал ли он, или все еще слушал. Все походы оставался он дома, но сей раз разобрало старого. Махнул рукою по-козацки и сказал:

— А, не куды пошло! Пойду и я; может, в чем-нибудь буду пригоден козачеству!

Все козаки притихли, когда выступил он теперь перед собрание, ибо давно не слышали от него никакого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бовдюг.

— Пришла очередь и мне сказать слово, паны-братья! — так он начал.— Послушайте, дети, старого. Мудро сказал кошевой; и, как голова козацкого войска, обязанный приберегать его и пещись о войсковом скарбе, мудрее ничего он не мог сказать. Вот что! Это пусть будет первая моя речь! А теперь послушайте, что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая речь: большую правду сказал и Тарас-полковник,— дай боже ему побольше веку и чтоб таких полковников было побольше на Украйне! Первый долг и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на веку, не слышал я, паны-братья, чтобы козак покинул где или продал как-нибудь своего товарища. И те и другие нам товарищи; меньше их или больше — все равно, все товарищи, все нам дороги. Так вот какая моя речь: те, которым милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, а которым милы полоненные ляхами и не хочется оставлять правого дела, пусть остаются. Кошевой по долгу пойдет с одною половиною за татарами, а другая половина выберет себе наказного атамана. А наказным атаманом, коли хотите послушать белой головы, не пригоже быть никому другому, как только од-

ному Тарасу Бульбе. Нет из нас никого, равного ему в доблести.

Так сказал Бовдюг и затих; и обрадовались все козаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки и закричали:

— Спасибо тебе, батько! Молчал, молчал, долго молчал, да вот наконец и сказал. Недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден козачеству: так и сделалось.

— Что, согласны вы на то?—спросил кошевой.

— Все согласны!—закричали козаки.

— Стало быть, раде конец?

— Конец раде!—кричали козаки.

— Слушайте ж теперь войскового приказа, дети!— сказал кошевой, выступил вперед и надел шапку, а все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокрытыми головами, утупив очи в землю, как бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старший.

— Теперь отделяйтесь, паны-братья! Кто хочет идти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи на левую! Куды бóльшая часть куреня переходит, туды и атаман; коли меньшая часть переходит, приставай к другим куреням.

И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого куреня бóльшая часть переходила, туда и куренной атаман переходил; которого малая часть, та приставала к другим куреням; и вышло без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться: весь почти Незамайковский курень, бóльшая половина Поповичевского куреня, весь Уманский курень, весь Каневский курень, бóльшая половина Стебликивского куреня, бóльшая половина Тымошевского куреня. Все остальные вызвались идти вдогон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых козаков. Между теми, которые решились идти вслед за татарами, был Череватый, добрый старый козак, Покотыполе, Лемиш, Прокопович Хома; Демид Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завзятого нрава козак— не мог долго высидеть на месте; с ляхами попробовал уже он дела, хотелось попробовать еще с татарами. Ку-

ренные были: Ностюган, Покрышка, Невылычкий; и много еще других славных и храбрых козаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татарином. Немало было также сильно и сильно добрых козаков между теми, которые захотели остаться: куренные Демытрович, Кукубенко, Вертыхвист, Балабан, Бульбенко Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих козаков: Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуска, Охрим Гуска, Мыкола Густый, Задорожний, Метелыця, Иван Закрутыгуба, Мосий Шило, Дёгтяренко, Сыдоренко, Пысаренко, потом другой Пысаренко, потом еще Пысаренко, и много было других добрых козаков. Все были хожалые, езжалые: ходили по анатольским берегам, по крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам и днепровским островам; бывали в молдавской, волошской, в турецкой земле; изъездили всё Черное море двухрульными козацкими челнами; нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие и превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстреляли пороху на своем веку. Не раз драли на онучи дорогие паволоки и оксамиты. Не раз череши у штанных очкуров набивали всё чистыми цехинами. А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, ставшего бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя. Всё спустили по-козацки, угощая весь мир и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свете. Еще и теперь у редкого из них не было закопано добра — кружек, серебряных ковшей и запястьев под камышами на днепровских островах, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, в случае несчастья, удалось ему напасть врасплох на Сечь; но трудно было бы татарину найти его, потому что и сам хозяин уже стал забывать, в котором месте закопал его. Такие-то были козаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам за верных товарищей и Христову веру! Старый козак Бовдюг захотел также остаться с ними, сказавши: «Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами, а тут есть место, где опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просил я у бога, чтобы если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войне за святое и христианское

дело. Так оно и случилось. Славнейшей кончины уже не будет в другом месте для старого козака».

Когда отделились все и стали на две стороны в два ряда куренями, кошевой прошел промеж рядов и сказал:

— А что, панове-братове, довольны одна сторона другою?

— Все довольны, батько! — отвечали козаки.

— Ну, так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощанье, ибо, бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велит козацкая честь.

И все козаки, сколько их ни было, перецеловались между собою. Начали первые атаманы и, поведши рукою седые усы свои, поцеловались навкрест и потом взялись за руки и крепко держали руки. Хотел один другого спросить: «Что, пане-брате, увидимся или не увидимся?» — да и не спросили, замолчали, — и загадались обе седые головы. А козаки все до одного прощались, зная, что много будет работы тем и другим; но не повершили, однако ж, тотчас разлучиться, а повершили дождаться темной ночной поры, чтобы не дать неприятелю увидеть убыль в козацком войске. Потом все отправились по куреням обедать.

После обеда все, которым предстояла дорога, легли отдыхать и спали крепко и долгим сном, как будто чуя, что, может, последний сон доведется им вкусить на такой свободе. Спали до самого заходу солнечного; а как зашло солнце и немного стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед возы, а сами, пошапковавшись еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за возами. Конница чинно, без покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотела вслед за пешими, и скоро стало их не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь да скрып иного колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано за ночною темнотою.

Долго еще оставшиеся товарищи махали им издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своим местам, когда увидели при высветивших ясно звездах, что половины телег уже не было на месте, что многих, многих нет, невесело стало у всякого

на сердце, и все задумались против воли, утупивши в землю гульливые свои головы.

Тарас видел, как смутны стали козацкие ряды и как уныние, неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкие головы, но молчал: он хотел дать время всему, чтобы пообыклись они и к унынью, наведенному прощаньем с товарищами, а между тем в тишине готовился разом и вдруг разбудить их всех, гикнувши по-козацки, чтобы вновь и с большею силою, чем прежде, воротилась бодрость каждому в душу, на что способна одна только славянская порода — широкая, могучая порода перед другими, что море перед мелководными реками. Коли время бурно, все превращается оно в рев и гром, бугря и подымая валы, как не поднять их бессильным рекам; коли же безветренно и тихо, яснее всех рек расстилает оно свою неоглядную склянную поверхность, вечную негу очей.

И повелел Тарас распаковать своим слугам один из возов, стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в козацком обозе; двойною крепкою шиною были обтянуты дебелые колеса его; грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими воловьими кожами и увязан туго засмоленными веревками. В возу были всё баклаги и бочонки старого доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребах. Взял он его про запас, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будет всем предстоять дело, достойное на передачу потомкам, то чтобы всякому, до единого, козаку досталось выпить заповедного вина, чтобы в великую минуту великое бы и чувство овладело человеком. Услышав полковничий приказ, слуги бросились к возам, палашами перерезывали крепкие веревки, снимали толстые воловьи кожи и попоны и стаскивали с воза баклаги и бочонки.

— А берите все,— сказал Бульба,— все, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковш, или черпак, которым поит коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обе горсти.

И козаки все, сколько ни было их, брали, у кого был ковш, у кого черпак, которым поил коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлял и так обе горсти.

Всем им слуги Тарасовы, расхаживая промеж рядами, наливали из баклаг и бочонков. Но не приказал Тарас пить, пока не даст знаку, чтобы выпить им всем разом. Видно было, что он хотел что-то сказать. Знал Тарас, что как ни сильно само по себе старое доброе вино и как ни способно оно укрепить дух человека, но если к нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крепче будет сила и вина и духа.

— Я угощаю вас, паны-братья,—так сказал Бульба,— не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом, как ни велика подобная честь, не в честь также прощанья с нашими товарищами: нет, в другое время прилично то и другое; не такая теперь перед нами минута. Перед нами дела великого поту, великой козацкой доблести! Итак, выпьем, товарищи, разом выпьем поперед всего за святую православную веру: чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурменов, все бы сделались христианами! Да за одним уже разом выпьем и за Сечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один одного лучше, один одного краше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за веру, пане-братове, за веру!

— За веру! — загомонели все, стоявшие в ближних рядах, густыми голосами.

— За веру! — подхватили дальние; и все что ни было, и старое и молодое, выпило за веру.

— За Сичь! — сказал Тарас и высоко поднял над головою руку.

— За Сичь! — отдалося густо в передних рядах.— За Сичь! — сказали тихо старые, моргнувши седым усом; и, встрепенувшись, как молодые соколы, повторили молодые: — За Сичь!

И слышало далече поле, как поминали козаки свою Сичь.

— Теперь последний глоток, товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете!

И все козаки, до последнего в поле, выпили последний глоток в ковшах за славу и всех христиан, какие ни есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам промеж всеми куренями:

— За всех христиан, какие ни есть на свете!

Уже пусто было в ковшах, а всё еще стояли козаки, поднявши руки. Хоть весело глядели очи их всех, просиявшие вином, но сильно загадались они. Не о корысти и военном прибытке теперь думали они, не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого оружья, шитых кафтанов и черкесских коней; но загадалися они — как орлы, севшие на вершинах обрывистых, высоких гор, с которых далеко видно расстилающееся беспредельно море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонам чуть видными тонкими поморьями, с прибережными, как мошки, городами и склонившимися, как мелкая травка, лесами. Как орлы, озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами и дорогами покрыто торчащими их белыми костями, щедро обмывшись козацкою их кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями. Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными книзу усами. Будут, налетев, орлы выдирать и выдергивать из них козацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге! Не погибнет ни одно великодушное дело, и не пропадет, как малая порошинка с ружейного дула, козацкая слава. Будет, будет бандурист с седою по грудь бородою, а может, еще полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещий духом, и скажет он про них свое густое, могучее слово. И пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что ни народится потом, заговорит о них. Ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву.

IX

В городе не узнал никто, что половина запорожцев выступила в погоню за татарами. С магистратской башни приметили только часовые, что потянулась часть возов за лес; но подумали, что козаки готовились сделать засаду; то же думал и французский инженер. А между тем слова кошевого не прошли даром, и в городе оказался недостаток в съестных припасах. По обычаю прошедших веков, войска не разочли, сколько им было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков была тут же перебита козаками, а половина прогнана в город ни с чем. Жиды, однако же, воспользовались вылазкою и пронюхали всё: куда и зачем отправились запорожцы, и с какими военачальниками, и какие именно курени, и сколько их числом, и сколько было оставшихся на месте, и что они думают делать,— словом, чрез несколько уже минут в городе всё узнали. Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то по движенью и шуму в городе и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три таборы курени, обнесши их возами в виде крепостей,— род битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы; двум куреням повелел забраться в засаду; убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, обломками копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда все было сделано как нужно, сказал речь козакам, не для того, чтобы ободрить и освежить их,— знал, что и без того крепки они духом,— а просто самому хотелось высказать все, что было на сердце.

— Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество!

Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь — и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово,— видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа,— любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а...— сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: — Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать,— так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!

Так говорил атаман и, когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившеюся в козацких делах головою. Всех, кто ни стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю; слеза ти-

хо накатывалася в старых очах; медленно отирали они ее рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодою жемчужною душою на вечную радость старцам родителям, родившим их.

А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны, окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал приказы. И стали наступать они тесно на козацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Как только увидели козаки, что подошли они на ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали, и, не перерывая, всё палили они из пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь в беспрерывный гул; дымом затянуло все поле, а запорожцы всё палили, не переводя духу: задние только заряжали да передавали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего понять, как стреляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство, не видно было, как то одного, то другого не ставало в рядах; но чувствовали ляхи, что густо летели пули и жарко становилось дело; и когда попятились назад, чтобы посторониться от дыма и оглядеться, то многих недосчитались в рядах своих. А у козаков, может быть, другой-третий был убит на всю сотню. И всё продолжали палить козаки из пищалей, ни на минуту не давая промежутка. Сам иноземный инженер подивился такой, никогда им не виданной тактике, сказавши тут же, при всех: «Вот бравые молодцы-запорожцы! Вот как нужно биться и другим в других землях!» И дал совет поворотить тут же на табор пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунные пушки; дрогнула, далеко загудевши, земля, и вдвое больше затянуло дымом все поле. Почуяли запах пороха среди площадей и улиц в дальних и ближних городах. Но нацелившие взяли слишком высоко: раска-

ленные ядра выгнули слишком высокую дугу. Страшно завизжав по воздуху, перелетели они через головы всего табора и углубились далеко в землю, взорвав и взметнув высоко на воздух черную землю. Ухватил себя за волосы французский инженер при виде такого неискусства и сам принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями беспрерывно козаки.

Тарас видел еще издали, что беда будет всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнул зычно: «Выбирайтесь скорей из-за возов, и садись всякий на коня!» Но не поспели бы сделать то и другое козаки, если бы Остап не ударил в самую середину; выбил фитили у шести пушкарей, у четырех только не мог выбить: отогнали его назад ляхи. А тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из козаков не видывал дотоле. Страшно глядела она широкою пастью, и тысяча смертей глядело оттуда. И как грянула она, а за нею следом три другие, четырекратно потрясши глухо-ответную землю,— много нанесли они горя! Не по одному козаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Не одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет, сердечная, выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого из них в очи, нет ли между их одного, милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного, милейшего всех.

Так, как будто и не бывало половины Незамайковского куреня! Как градом выбивает вдруг всю ниву, где, что полновесный червонец, красовался всякий колос, так их выбило и положило.

Как же вскинулись козаки! Как схватились все! Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины куреня его нет! Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину. В гневе иссек в капусту первого попавшегося, многих конников сбил с коней, доставши копьем и конника и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку. А уж там, видит, хлопочет уманский куренной атаман и

Степан Гуска уже отбивает главную пушку. Оставил он тех козаков и поворотил с своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайковцы — так там и улица, где поворотились — так уж там и переулок! Так и видно, как редели ряды и снопами валились ляхи! А у самых возов Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальних возов Дёгтяренко, а за ним куренной атаман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дёгтяренко, да напал наконец на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях, пышной сбруей украшен и пятьдесят одних слуг привел с собою. Погнул он крепко Дёгтяренка, сбил его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричал: «Нет из вас, собак-козаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне!»

«А вот есть же!» — сказал и выступил вперед Мосий Шило. Сильный был он козак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Схватили их турки у самого Трапезонта и всех забрали невольниками на галеры, взяли их по рукам и ногам в железные цепи, не давали по целым неделям пшена и поили противной морской водою. Все выносили и вытерпели бедные невольники, лишь бы не переменять православной веры. Не вытерпел атаман Мосий Шило, истоптал ногами святой закон, скверною чалмой обвил грешную голову, вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные невольники, ибо знали, что если свой продаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом. Так и сбылось. Всех посадил Мосий Шило в новые цепи по три в ряд, прикрутил им до самых белых костей жестокие веревки; всех перебил по шеям, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать и, позабыв закон свой, все перепились, он принес все шестьдесят четыре ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кандалы в море, а брали бы наместо того сабли да рубили турков. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою в отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосия Шила. Выбрали бы его в

кошевые, да был совсем чудной козак. Иной раз повершал такое дело, какого мудрейшему не придумать, а в другой — просто дурь одолевала козака. Пропил он и прогулял все, всем задолжал на Сечи и, в прибавку к тому, прокрался, как уличный вор: ночью утащил из чужого куреня всю козацкую сбрую и заложил шинкарю. За такое позорное дело привязали его на базаре к столбу и положили возле дубину, чтобы всякий по мере сил своих отвесил ему по удару. Но не нашлось такого из всех запорожцев, кто бы поднял на него дубину, помня прежние его заслуги. Таков был козак Мосий Шило.

«Так есть же такие, которые бьют вас, собак!» — сказал он, кинувшись на него. И уж так-то рубились они! И наплечники и зерцала погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий лях железную рубашку, достав лезвеем самого тела: зачервонела козацкая рубашка. Но не поглядел на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся лях, а Шило принялся рубить и крестить оглушенного. Не добивай, козак, врага, а лучше поворотись назад! Не поворотился козак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился Шило и уж достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шило и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паны-братья, товарищи! Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» И зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась козацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал Задорожний с своими, ломил ряды куренной Вертыхвист и выступал Балабан.

— А что, паны? — сказал Тарас, перекликнувшись с куренными.— Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли козацкая сила? Не гнутся ли козаки?

— Есть еще, батько, порох в пороховницах. Не ослабела еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!

И наперли сильно козаки: совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть восемь малеванных знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к знаменам; но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь с своими незамайковцами в середину и напал прямо на толстопузого полковника. Не выдержал полковник и, поворотив коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то с бокового куреня, Степан Гуска пустился ему навпереймы, с арканом в руке, всю пригнувши голову к лошадиной шее, и, улучивши время, с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. Но несдобровать и Гуске! Не успели оглянуться козаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на четыре копья. Только и успел сказать бедняк: «Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля!» И там же испустил дух свой.

Оглянулись козаки, а уж там, сбоку, козак Метелыця угощает ляхов, шеломя того и другого; а уж там, с другого, напирает с своими атаман Невылычкий; а у возов ворочает врага и бьется Закрутыгуба; а у дальних возов третий Пысаренко отогнал уже целую ватагу. А уж там, у других возов, схватились и бьются на самых возах.

— Что, паны? — переклинкнулся атаман Тарас, проехавши впереди всех.— Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще козацкая сила? Не гнутся ли еще козаки?

— Есть еще, батько, порох в пороховницах; еще крепка козацкая сила; еще не гнутся козаки!

А уж упал с воза Бовдюг. Прямо под самое сердце пришлась ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться с светом. Дай бог и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца века Русская земля!» И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отшедшим старцам, как умеют

биться на Русской земле и, еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру.

Балабан, куренной атаман, скоро после него грянулся также на землю. Три смертельные раны достались ему: от копья, от пули и от тяжелого палаша. А был один из доблестнейших козаков; много совершил он под своим атаманством морских походов, но славнее всех был поход к анатольским берегам. Много набрали они тогда цехинов, дорогой турецкой габы, киндяков и всяких убранств, но мыкнули горе на обратном пути: попались, сердечные, под турецкие ядра. Как хватило их с корабля — половина челнов закружилась и перевернулась, потопивши не одного в воду, но привязанные к бокам камыши спасли челны от потопления. Балабан отплыл на всех веслах, стал прямо к солнцу и чрез то сделался невиден турецкому кораблю. Всю ночь потом черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитые места; из козацких штанов нарезали парусов, понеслись и убежали от быстрейшего турецкого корабля. И мало того что прибыли безбедно на Сечу, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорского киевского монастыря и на Покров, что на Запорожье, оклад из чистого серебра. И славили долго потом бандуристы удачливость козаков. Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал: «Сдается мне, паны-браты, умираю хорошею смертью: семерых изрубил, девятерых копьем исколол. Истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулею. Пусть же цветет вечно Русская земля!..» И отлетела его душа.

Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенка, уже семь человек только осталось изо всего Незамайковского куреня; уже и те отбиваются через силу; уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели козаки: уже успело ему углубиться под сердце копье прежде, чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхватившим его козакам, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли в склянном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользну-

лись тут же у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай в жизни, чтобы если приведет бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человек... Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!» И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную меня! — скажет ему Христос,— ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь». Всех опечалила смерть Кукубенка. Уже редели сильно козацкие ряды; многих, многих храбрых уже недосчитывались; но стояли и держались еще козаки.

— А что, паны? — перекликнулся Тарас с оставшимися куренями.— Есть ли еще порох в пороховницах? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила? Не погнулись ли козаки?

— Достанет еще, батько, пороху! Годятся еще сабли; не утомилась козацкая сила; не погнулись еще козаки!

И рванулись снова козаки так, как бы и потерь никаких не потерпели. Уже три только куренных атамана осталось в живых. Червонели уже всюду красные реки; высоко гатились мосты из козацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то пожива! А уж там подняли на копье Метелыцю. Уже голова другого Пысаренка, завертевшись, захлопала очами. Уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охрим Гуска. «Ну!» — сказал Тарас и махнул платком. Понял тот знак Остап и ударил сильно, вырвавшись из засады, в конницу. Не выдержали сильного напору ляхи, а он их гнал и нагнал прямо на место, где были убиты в землю колья и обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони и лететь через их головы ляхи. А в это время кор-

сунцы, стоявшие последние за возами, увидевши, что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все сбились и растерялись ляхи, и приободрились козаки. «Вот и наша победа!» — раздались со всех сторон запорожские голоса, затрубили в трубы и выкинули победную хоругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи. «Ну, нет, еще не совсем победа!» — сказал Тарас, глядя на городские ворота, и сказал он правду.

Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все как один бурые аргамаки. Впереди других понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий. А он между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрейший и молодший всех в стае. Атукнул на него опытный охотник — и он понесся, пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набок всем телом, взрывая снег и десять раз выпереживая самого зайца в жару своего бега. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собою дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал: «Как?.. Своих?.. Своих, чертов сын, своих бьешь?..» Но Андрий не различал, кто пред ним был, свои или другие какие; ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные, длинные кудри, и подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев.

«Эй, хлопьята! заманите мне только его к лесу, заманите мне только его!» — кричал Тарас. И вызвалось тот же час тридцать быстрейших козаков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо наперерез гусарам. Ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватил плашмя по спине Андрия, и в тот же час пустились бежать от

них, сколько достало козацкой мочи. Как вскинулся Андрий! Как забунтовала по всем жилкам молодая кровь! Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за козаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только двадцать человек успело поспевать за ним. А козаки летели во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрий и чуть было уже не настигнул Голокопытенка, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрий: пред ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен...

Так школьник, неосторожно задравши своего товарища и получивши за то от него удар линейкою по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный выскакивает из лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части, и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя: вмиг притихает бешеный порыв и упадает бессильная ярость. Подобно ему, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед собою одного только страшного отца.

— Ну, что ж теперь мы будем делать? — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.

Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.

— Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

Андрий был безответен.

— Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!

Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив ни мертв перед Тарасом.

— Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! — сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье.

Бледен как полотно был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил.

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное же-

лезо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарованья, все еще выражало чудную красоту; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты.

— Чем бы не козак был? — сказал Тарас,— и станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал, пропал бесславно, как подлая собака!

— Батько, что ты сделал? Это ты убил его? — сказал подъехавший в это время Остап.

Тарас кивнул головою.

Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же:

— Предадим же, батько, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тела хищные птицы.

— Погребут его и без нас! — сказал Тарас,— будут у него плакальщики и утешницы!

И минуты две думал он, кинуть ли его на расхищенье волкам-сыромахам, или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко:

— Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила!..

Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко:

— Беда, атаман, новая валит еще сила!..

На успел сказать Вовтузенко, Пысаренко бежит бегом, уже без коня:

— Где ты, батьку? Ищут тебя козаки. Уж убит куренной атаман Невылычкий, Задорожний убит, Черевиченко убит. Но стоят козаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи; хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом!

— На коня, Остап! — сказал Тарас и спешил, чтобы застать еще козаков, чтобы поглядеть еще на них и чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана.

Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон лес, и меж деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..» — кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал честить первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро; но не в добрый час, видно, наскочило: с одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьем в ребро третьего; четвертый был поотважней, уклонился головой от пули, и попала в конскую грудь горячая пуля,— вздыбился бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собою всадника. «Добре, сынку!.. Добре, Остап!..— кричал Тарас.— Вот я следом за тобою!..» А сам все отбивался от наступавших. Рубится и бьется Тарас, сыплет гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит все вперед на Остапа и видит, что уже вновь схватилось с Остапом мало не восьмеро разом. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..» Но уж одолевают Остапа; уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа. «Эх, Остап, Остап!..— кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных.— Эх, Остап, Остап!..» Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту. Все закружилось и перевернулось в глазах его. На миг смешанно сверкнули пред ним головы, копья, дым, блески огня, сучья с древесными листьями, мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся он, как подрубленный дуб, на землю. И туман покрыл его очи.

X

— Долго же я спал! — сказал Тарас, очнувшись, как после трудного хмельного сна, и стараясь распознать окружавшие его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались пред ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что пред ним сидел Товкач и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханию.

«Да,— подумал про себя Товкач,— заснул бы ты,



Тарас Бульба

Рисунок Е. Кибрика. 1952

может быть, и навеки!» Но ничего не сказал, погрозил пальцем и дал знак молчать.

— Да скажи же мне, где я теперь? — спросил опять Тарас, напрягая ум и стараясь припомнить бывшее.

— Молчи ж! — прикрикнул сурово на него товарищ.— Чего тебе еще хочется знать? Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уж две недели как мы с тобою скачем не переводя духу и как ты в горячке и жару несешь и городишь чепуху. Вот в первый раз заснул покойно. Молчи ж, если не хочешь нанести сам себе беду.

Но Тарас все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее.

— Да ведь меня же схватили и окружили было совсем ляхи? Мне ж не было никакой возможности выбиться из толпы?

— Молчи ж, говорят тебе, чертова детина! — закричал Товкач сердито, как нянька, выведенная из терпенья, кричит неугомонному повесе ребенку.— Что пользы знать тебе, как выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали,— ну, и будет с тебя! Нам еще немало ночей скакать вместе. Ты думаешь, что пошел за простого козака? Нет, твою голову оценили в две тысячи червонных.

— А Остап? — вскрикнул вдруг Тарас, понатужился приподняться и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали в глазах его и что он теперь уже в ляшских руках.

И обняло горе старую голову. Сорвал и сдернул он все перевязки ран своих, бросил их далеко прочь, хотел громко что-то сказать — и вместо того понес чепуху; жар и бред вновь овладели им, и понеслись без толку и связи безумные речи.

А между тем верный товарищ стоял пред ним, бранясь и рассыпая без счету жестокие укорительные слова и упреки. Наконец схватил он его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, поправил все перевязки, увернул его в воловью кожу, увязал в лубки и, прикрепивши веревками к седлу, помчался вновь с ним в дорогу.

— Хоть неживого, да довезу тебя! Не попущу, чтобы ляхи поглумились над твоей козацкою породою, на куски рвали бы твое тело да бросали его в воду. Пусть же хоть и будет орел высмыкать из твоего лоба очи, да пусть же степовой наш орел, а не ляшский, не тот, что прилетает из польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя до Украйны!

Так говорил верный товарищ. Скакал без отдыху дни и ночи и привез его, бесчувственного, в самую Запорожскую Сечь. Там принялся он лечить его неутомимо травами и смачиваньями; нашел какую-то знающую жидовку, которая месяц поила его разными снадобьями, и наконец Тарасу стало лучше. Лекарства ли, или своя железная сила взяла верх, только он через полтора месяца стал на ноги; раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, как глубоко когда-то был ранен старый козак. Однако же заметно стал он пасмурен и печален. Три тяжелые морщины насунулись на лоб его и уже больше никогда не сходили с него. Оглянулся он теперь вокруг себя: все новое на Сечи, все перемерли старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство. И те, которые отправились с кошевым в угон за татарами, и тех уже не было давно: все положили головы, все сгибли — кто положив на самом бою честную голову, кто от безводья и бесхлебья среди крымских солончаков, кто в плену пропал, не вынесши позора; и самого прежнего кошевого уже давно не было на свете, и никого из старых товарищей; и уже давно поросла травою когда-то кипевшая козацкая сила. Слышал он только, что был пир, сильный, шумный пир: вся перебита вдребезги посуда; нигде не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги все дорогие кубки и сосуды,— и смутный стоит хозяин дома, думая: «Лучше б и не было того пира». Напрасно старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, седые бандуристы, проходя по два и по три, расславляли его козацкие подвиги. Сурово и равнодушно глядел он на все, и на неподвижном лице его выступала неугасимая горесть, и, тихо понурив голову, говорил он: «Сын мой! Остап мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее; видела чалмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровию полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах, но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Он уходил в луга и степи, будто бы за охотою, но заряд его оставался невыстрелянным. И, положив ружье, полный тоски, садился он на морской берег. Долго сидел он там, понурив голову и все говоря: «Остап мой! Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилалось Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою.

И не выдержал наконец Тарас. «Что бы ни было, пойду разведать, что он: жив ли он? в могиле? или уже и в самой могиле нет его? Разведаю во что бы ни стало!» И через неделю уже очутился он в городе Умани, вооруженный, на коне, с копьем, саблей, дорожной баклагой у седла, походным горшком с саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочим снарядом. Он прямо подъехал к нечистому, запачканному домишке, у которого небольшие окошки едва были видны, закопченные неизвестно чем; труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякого сору лежала пред самыми дверьми. Из окна выглядывала голова жидовки, в чепце с потемневшими жемчугами.

— Муж дома? — сказал Бульба, слезая с коня и привязывая повод к железному крючку, бывшему у самых дверей.

— Дома,— сказала жидовка и поспешила тот же час выйти с пшеницей в корчике для коня и стопой пива для рыцаря.

— Где же твой жид?

— Он в другой светлице, молится,— проговорила жидовка, кланяясь и пожелав здоровья в то время, когда Бульба поднес к губам стопу.

— Оставайся здесь, накорми и напои моего коня, а я пойду поговорю с ним один. У меня до него дело.

Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. Тарас вошел в светлицу. Жид молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Так и бросились жиду прежде всего в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он постыдился своей корысти и силился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.

— Слушай, Янкель! — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели.— Я спас твою жизнь,— тебя бы разорвали, как собаку, запорожцы; теперь твоя очередь, теперь сделай мне услугу!

Лицо жида несколько поморщилось.

— Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать?

— Не говори ничего. Вези меня в Варшаву.

— В Варшаву? Как в Варшаву? — сказал Янкель. Брови и плечи его поднялись вверх от изумления.

— Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово.

— Кому сказать слово?

— Ему, Остапу, сыну моему.

— Разве пан не слышал, что уже...

— Знаю, знаю все: за мою голову дают две тысячи червонных. Знают же они, дурни, цену ей! Я тебе пять тысяч дам. Вот тебе две тысячи сейчас,— Бульба высыпал из кожаного гамана две тысячи червонных,— а остальные — как ворочусь.

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы.

— Ай, славная монета! Ай, добрая монета! — говорил он, вертя один червонец в руках и пробуя на зубах.— Я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы, и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку, да и утонул там после таких славных червонцев.

— Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете; вы знаете все штуки; вот для чего я пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня!

— А пан думает, что так прямо взял кобылу, запряг, да и «эй, ну пошел, сивка!» Думает пан, что можно так, как есть, не спрятавши, везти пана?

— Ну, так прятай, прятай, как знаешь; в порожнюю бочку, что ли?

— Ай, ай! А пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка?

— Ну, так и пусть думает, что горелка.

— Как? Пусть думает, что горелка? — сказал жид и схватил себя обеими руками за пейсики и потом поднял кверху обе руки.

— Ну, что же ты так оторопел?

— А пан разве не знает, что бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал! Там всё лакомки, ласуны: шляхтич будет бежать верст пять за бочкой, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет порожнюю бочку; верно, тут есть что-нибудь. Схватить жида, связать жида, отобрать все деньги у жида, посадить в тюрьму жида!» Потому что все, что ни есть недоброго, все валится на жида; потому что жида всякий принимает за собаку; потому что думают, уж и не человек, коли жид.

— Ну, так положи меня в воз с рыбою!

— Не можно, пан; ей-богу, не можно. По всей Польше люди голодны теперь, как собаки: и рыбу раскрадут, и пана нащупают.

— Так вези меня хоть на черте, только вези!

— Слушай, слушай, пан! — сказал жид, посунувши обшлага рукавов своих и подходя к нему с растопыренными руками.— Вот что мы сделаем. Теперь строят везде крепости и замки; из Неметчины приехали французские инженеры, а потому по дорогам везут много кирпичу и камней. Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, коли будет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.

— Делай как хочешь, только вези!

И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развевались из-под жидовского яломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади, длинный, как верста, поставленная на дороге.

XI

В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил

обыск и ревизовку, то делал это большею частию для своего собственного удовольствия, особливо если на возу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на выворoченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы, со множеством протянутых из окон жердей, увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху ощекатуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимою для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что только было у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид, с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он надеется доставить ему свидание.

Бульба вошел с тремя жидами в комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды — надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния; старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши.

— Слушайте, жиды! — сказал он, и в словах его было что-то восторженное.— Вы всё на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского; и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа! Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных,— я прибавляю еще двенадцать. Все, какие у меня есть, дорогие кубки и закопанное в земле золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь, с тем чтобы все, что ни добуду на войне, делить с вами пополам.

— О, не можно, любезный пан, не можно! — сказал со вздохом Янкель.

— Нет, не можно! — сказал другой жид.

Все три жида взглянули один на другого.

— А попробовать? — сказал третий, боязливо поглядывая на двух других,— может быть, бог даст.

Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать; он слышал только часто произносимое слово «Мардохай», и больше ничего.

— Слушай, пан! — сказал Янкель,— нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У-у! то такой мудрый, как Соломон; и когда он ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает. Сиди тут; вот ключ, и не впускай никого!

Жиды вышли на улицу.

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно; к ним присоединился скоро четвертый, наконец и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы; наконец в конце ее из-за одного дрянного дома показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтанья. «А, Мардохай, Мардохай!» — закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказывать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший на стороже, должен был дать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился.

Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал: «Когда мы да бог захочем сделать, то уже будет так, как нужно».

Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие: верхняя губа у него была просто страшилище; толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только пятнадцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна.

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб; он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец, уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

— Что? удачно? — спросил он их с нетерпением дикого коня.

Но прежде еще нежели жиды собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто бы страдал простудою.

— О любезный пан! — сказал Янкель,— теперь совсем не можно! Ей-богу, не можно! Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет. Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете; но бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить.

Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева.

— А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья! Ой, вей мир! Что это за корыстный народ! И между нами таких нет: пятьдесят червонцев я дал каждому, а левентарю...

— Хорошо. Веди меня к нему! — произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу.

Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке для Бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтанье и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал; он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами по столу; он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля.

— Вставай, жид, и давай твою графскую одежду.

В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на темя маленькую темную шапочку,— и никто бы из самых близких к нему козаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкою в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная узкая башня, на верху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей: тут были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших

и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал:

— Это мы; слышите, паны? это мы.

— Ступайте! — говорил один из них, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов.

Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху.

— Кто идет? — закричало несколько голосов; и Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении.— Нам никого не велено пускать.

— Это мы! — кричал Янкель.— Ей-богу, мы, ясные паны.

Но никто не хотел слушать. К счастию, в это время подошел какой-то толстяк, который по всем приметам казался начальником, потому что ругался сильнее всех.

— Пан, это ж мы, вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить.

— Пропустите, сто дьяблов чертовой матке! И больше никого не пускайте! Да саблей чтобы никто не скидал и не собачился на полу...

Продолжения красноречивого приказа уже не слышали наши путники.

— Это мы... это я... это свои! — говорил Янкель, встречаясь со всяким.

— А что, можно теперь? — спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался.

— Можно; только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой,— отвечал часовой.

— Ай, ай! — произнес тихо жид.— Это скверно, любезный пан!

— Веди! — произнес упрямо Тарас.

Жид повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему:

— Ваша ясновельможность! Ясновельможный пан!

— Ты, жид, это мне говоришь?

— Вам, ясновельможный пан!

— Гм... А я просто гайдук! — сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами.

— А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. Ай, ай, ай!..— при этом жид покрутил головою и расставил пальцы.— Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник, совсем полковник! Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки!

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились.

— Что за народ военный! — продолжал жид.— Ох, вей мир, что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки... Так от них блестит, как от солнца; а цурки, где только увидят военных... ай, ай!..

Жид опять покрутил головою.

Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание.

— Прошу пана оказать услугу! — произнес жид,— вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на козаков. Он еще сроду не видел, что это за народ козаки.

Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы: Московию и Украйну они почитали уже находящимися в Азии. И потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя.

— Я не знаю, ваша ясновельможность,— говорил он,— зачем вам хочется смотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает.

— Врешь ты, чертов сын! — сказал Бульба.— Сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретическую веру не уважают!

— Эге-ге! — сказал гайдук.— А я знаю, приятель, ты кто: ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших.

Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастию, Янкель в ту же минуту успел подвернуться.

— Ясновельможный пан! как же можно, чтобы граф да был козак? А если бы он был козак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский!

— Рассказывай себе!..— и гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть.

— Ваше королевское величество! молчите! молчите, ради бога! — закричал Янкель.— Молчите! Мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели: мы дадим вам два золотых червонца.

— Эге! Два червонца! Два червонца мне нипочем: я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил. Сто червонных давай, жид! — Тут гайдук закрутил верхние усы.— А как не дашь ста червонных, сейчас закричу!

— И на что бы так много! — горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой; но он счастлив был, что в его кошельке не было более и что гайдук далее ста не умел считать.— Пан, пан! уйдем скорее! Видите, какой тут нехороший народ! — сказал Янкель, заметивши, что гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более.

— Что ж ты, чертов гайдук,— сказал Бульба,— деньги взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать.

— Ступайте, ступайте к дьяволу! а не то я сию минуту дам знать, и вас тут... Уносите ноги, говорю я вам, скорее!

— Пан! пан! пойдем! Ей-богу, пойдем! Цур им! Пусть им приснится такое, что плевать нужно,— кричал бедный Янкель.

Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.

— И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народ, что не может не браниться! Ох, вей мир, какое счастие посылает бог людям! Сто червонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно, а никто не даст ста червонных. О боже мой! боже милосердый!

Но неудача эта гораздо более имела влияния на Бульбу; она выражалась пожирающим пламенем в его глазах.

— Пойдем! — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись.— Пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить.

— Ой, пан! зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже.

— Пойдем! — упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали спросонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мученье!» — кричали из них многие с истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь; однако же простаивали иногда довольное время. Иной, и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем

в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкою своею, Юзысею, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка Юзыся,— говорил он,—весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты,— то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив; а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством. Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами, сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, как белый сахар, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп, в блестящем убранстве, с откидными назад рукавами, разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлою ручкою своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла наподхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своею головою, в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощию длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем: перегнувши набок нос и подняв-

ши лапу, он с своей стороны рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут... ведут!.. козаки!..»

Они шли с открытыми головами, с длинными чубами; бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою горделивостию; их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями; они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко:

— Дай же, боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!

После этого он приблизился к эшафоту.

— Добре, сынку, добре! — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.

Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки, и... Не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Напрасно некоторые, немногие, бывшие исключениями из века, являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно король и многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение козацкой нации. Но власть короля и умных мнений была ничто перед беспорядком и дерзкой волею государственных магнатов, которые своею необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожною гордостью превратили сейм в сатиру на прав-

ление. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои,— ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи, и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»

Но когда подвели его к последним смертным мукам — казалось, как будто стала подаваться его сила. И повел он очами вокруг себя: боже, всё неведомые, всё чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и биющей себя в белые груди; хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи:

— Батько! где ты? Слышишь ли ты?

— Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул.

Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел как смерть, и, когда всадники немного отдалились от него, он со страхом оборотился назад, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возле него не было: его и след простыл.

XII

Отыскался след Тарасов. Сто двадцать тысяч козацкого войска показалось на границах Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа,— поднялась отмстить за посмеянье прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бес-

чинства чужеземных панов, за угнетенье, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле — за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть козаков. Молодой, но сильный духом гетьман Остраница предводил всею несметною козацкою силою. Возле был виден престарелый, опытный товарищ его и советник, Гуня. Восемь полковников вели двенадцатитысячные полки. Два генеральные есаула и генеральный бунжучный ехали вслед за гетьманом. Генеральный хорунжий предводил главное знамя; много других хоругвей и знамен развевалось вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было других чинов полковых: обозных, войсковых товарищей, полковых писарей и с ними пеших и конных отрядов; почти столько же, сколько было рейстровых козаков, набралось охочекомонных и вольных. Отвсюду поднялись козаки: от Чигирина, от Переяслава, от Батурина, от Глухова, от низовой стороны днепровской и от всех его верховий и островов. Без счету кони и несметные таборы телег тянулись по полям. И между теми-то козаками, между теми восьмью полками отборнее всех был один полк, и полком тем предводил Тарас Бульба. Все давало ему перевес пред другими: и преклонные лета, и опытность, и уменье двигать своим войском, и сильнейшая всех ненависть к врагам. Даже самим козакам казалась чрезмерною его беспощадная свирепость и жестокость. Только огонь да виселицу определяла седая голова его, и совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением.

Нечего описывать всех битв, где показали себя козаки, ни всего постепенного хода кампании: все это внесено в летописные страницы. Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря. Из самой средины морского дна возносит она к небесам непроломные свои стены, вся созданная из одного цельного, сплошного камня. Отвсюду видна она и глядит прямо в очи мимобегущим волнам. И горе кораблю, который нанесется на нее! В щепы летят бессильные его

снасти, тонет и ломится в прах все, что ни есть на них, и жалким криком погибающих оглашается пораженный воздух.

В летописных страницах изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов; как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды; как слаб был коронный гетьман Николай Потоцкий с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы; как, разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска; как облегли его в небольшом местечке Полонном грозные козацкие полки и как, приведенный в крайность, польский гетьман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ. Но не такие были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкий не красовался бы больше на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных панн и зависть дворянства, не шумел бы на сеймах, задавая роскошные пиры сенаторам, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Когда вышли навстречу все попы в светлых золотых ризах, неся иконы и кресты, и впереди сам архиерей с крестом в руке и в пастырской митре, преклонили козаки все свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже́ самого короля, но против своей церкви христианской не посмели и уважили свое духовенство. Согласился гетьман вместе с полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него клятвенную присягу оставить на свободе все христианские церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воинству. Один только полковник не согласился на такой мир. Тот один был Тарас. Вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул:

— Эй, гетьман и полковники! не сделайте такого бабьего дела! не верьте ляхам: продадут псяюхи!

Когда же полковой писарь подал условие и гетьман приложил свою властную руку, он снял с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа,

разломил ее надвое, как трость, и кинул врозь, далеко в разные стороны оба конца, сказав:

— Прощайте же! Как двум концам сего палаша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете. Помяните же прощальное мое слово (при сем слове голос его вырос, подымался выше, принял неведомую силу,— и смутились все от пророческих слов): перед смертным часом своим вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствие и мир; думаете, пановать станете? Будете пановать другим панованьем: сдерут с твоей головы, гетьман, кожу, набьют ее гречаною половою, и долго будут видеть ее по всем ярмаркам! Не удержите и вы, паны, голов своих! Пропадете в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если вас, как баранов, не сварят всех живыми в котлах!

— А вы, хлопцы! — продолжал он, оборотившись к своим,— кто из вас хочет умирать своею смертью — не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у шинка, подобно всякой падали, а честной, козацкой смертью — всем на одной постеле, как жених с невестою? Или, может быть, хотите воротиться домой, да оборотиться в недоверков, да возить на своих спинах польских ксендзов?

— За тобою, пане полковнику! За тобою! — вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку; и к ним перебежало немало других.

— А коли за мною, так за мною же! — сказал Тарас, надвинул глубже на голову себе шапку, грозно взглянул на всех остававшихся, оправился на коне своем и крикнул своим:— Не попрекнет же никто нас обидной речью! А ну, гайда, хлопцы, в гости к католикам!

И вслед за тем ударил он по коню, и потянулся за ним табор из ста телег, и с ними много было козацких конников и пехоты, и, оборотясь, грозил взором всем остававшимся, и гневен был взор его. Никто не посмел остановить их. В виду всего воинства уходил полк, и долго еще оборачивался Тарас и все грозил.

Смутны стояли гетьман и полковники, задумалися все и молчали долго, как будто теснимые каким-то тя-

желым предвестием. Недаром провещал Тарас: так все и сбылось, как он провещал. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневом, вздернута была голова гетьмана на кол вместе со многими из первейших сановников.

А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать местечек, близ сорока костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки; распечатали и поразливали по земле козаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах; изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жалейте!» — повторял только Тарас. Не уважили козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвигнулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя. «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» — приговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами от всех преследований; едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали козаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения; неутомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную развалившуюся крепость.

Над самой кручей у Днестра-реки виднелась она своим оборванным валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться

и слететь вниз. Тут-то, с двух сторон, прилеглых к полю, обступил его коронный гетьман Потоцкий. Четыре дни бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и каменьями. Но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, и заплакал дебелый старый козак. Но не старость была виною: сила одолела силу. Мало не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам. «Попалась ворона! — кричали ляхи.— Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собаке, лучшую честь воздать». И присудили, с гетьманского разрешенья, сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло нагое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы отвсюду был виден козак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались козаки: ему с высоты все было видно как на ладони.

— Занимайте, хлопцы, занимайте скорее,— кричал он,— горку, что за лесом: туда не подступят они!

Но ветер не донес его слов.

— Вот, пропадут, пропадут ни за что! — говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса и зычно закричал:

— К берегу! к берегу, хлопцы! Спускайтесь под-

горной дорожкой, что налево. У берега стоят челны, все забирайте, чтобы не было погони!

На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны козаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переворотил все в глазах его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а уж погоня за плечами. Видят: путается и загибается дорожка и много дает в сторону извивов. «А, товарищи! не куды пошло!» — сказали все, остановились на миг, подняли свои нагайки, свистнули — и татарские их кони, отделившись от земли, распластавшись в воздухе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Двое только не достали до реки, грянулись с вышины об каменья, пропали там навеки с конями, даже не успевши издать крика. А козаки уже плыли с конями в реке и отвязывали челны. Остановились ляхи над пропастью, дивясь неслыханному козацкому делу и думая: прыгать ли им, или нет? Один молодой полковник, живая, горячая кровь, родной брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия, не подумал долго и бросился со всех сил с конем за козаками: перевернулся три раза в воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые утесы. В куски изорвали его острые камни, пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты.

Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже козаки были на челнах и гребли веслами; пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана.

— Прощайте, товарищи! — кричал он им сверху.— Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!..

А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву... Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест; блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях. Козаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минали отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана.

Часть вторая

ВИЙ[1]

Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот Братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы, с тетрадями под мышкой, брели в класс. Грамматики были еще очень малы; идя, толкали друг друга и бранились между собою самым тоненьким дискантом; они были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякою дрянью, как-то: бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один, вдруг чиликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее: платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа: или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета; эти говорили и божились между собою тенором. Фило-

---

[1] Вий — есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. (*Прим. Н. В. Гоголя.*)

софы целою октавою брали ниже; в карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких и все, что попадалось, съедали тогда же; от них слышалась трубка и горелка иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго еще, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух.

Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали наподхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи.

— Паничи! паничи! сюды! сюды! — говорили они со всех сторон.— Ось бублики, маковники, вертычки, буханци хороши! ей-богу, хороши! на меду! сама пекла!

Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала:

— Ось сусулька! паничи, купите сусульку!

— Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная — и нос нехороший, и руки нечистые...

Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и притом целою горстью.

По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно, однако же, просторных комнатах с небольшими окнами, с широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосными жужжаниями: авдиторы выслушивали своих учеников; звонкий дискант грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком; в углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать по крайней мере философии. Он гудел басом, и только слышно было издали: бу, бу, бу, бу... Авдиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка, или вареник, или семена из тыкв.

Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда, со всеобщего согласия,

замышляли бой, и в этом бою должны были участвовать все, даже и цензора, обязанные смотреть за порядком и нравственностию всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить битве: каждый ли класс должен стоять за себя особенно, или все должны разделиться на две половины: на бурсу и семинарию. Во всяком случае грамматики начинали прежде всех, и как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а наконец и богословия, в ужасных шароварах и с претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословия побивала всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту, по разгоревшимся лицам своих слушателей, узнавал, что бой был недурен, и в то время, когда он сек розгами по пальцам риторику, в другом классе другой профессор отделывал деревянными лопатками по рукам философию. С богословами же было поступаемо совершенно другим образом: им, по выражению профессора богословии, отсыпалось по мерке *крупного гороху*, что состояло в коротеньких кожаных канчуках.

В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами. Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов, ростом мало чем пониже киевской колокольни, представлявший Иродиаду или Пентефрию, супругу египетского царедворца. В награду получали они кусок полотна, или мешок проса, или половину вареного гуся и тому подобное.

Весь этот ученый народ, как семинария так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив; так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерею галушек, было бы совершенно невозможное дело; и потому доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны.

Тогда сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов под предводительством одного философа, — а иногда присоединялся и сам, — с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день авдиторы слышали от них вместо одного два урока: один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурса и семинария носили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшихся *по сие время:* слово техническое, означавшее — далее пяток.

Самое торжественное для семинарии событие было вакансии — время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись *на кондиции*, то есть брались учить или приготовлять детей людей зажиточных, и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором; варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собою мешок, в котором находилась одна рубашка и пара онуч. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Как только завидывали в стороне хутор, тотчас сворочали с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенной поопрятнее других, становились перед окнами в ряд и во весь рот начинали петь кант. Хозяин хаты, какой-нибудь старый козак-поселянин, долго их слушал, подпершись обеими руками, потом рыдал прегорько и говорил, обращаясь к своей жене: «Жинко! то, что поют школяры, должно быть очень разумное; вынеси им сала и чего-нибудь такого, что у нас есть!» И целая миска вареников валилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько паляниц, а иногда и связанная курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риторы, философы и богословы

опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем более уменьшалась толпа их. Все почти разбродились по домам, и оставались те, которые имели родительские гнезда далее других.

Один раз во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону, с тем чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были: богослов Халява, философ Хома Брут и ритор Тиберий Горобець.

Богослов был рослый, плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав: все, что ни лежало, бывало, возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, и когда напивался он пьян, то прятался в бурьяне, и семинарии стоило большого труда его сыскать там.

Философ Хома Брут был нрава веселого. Любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака. Он часто пробовал *крупного гороху*, но совершенно с философическим равнодушием,— говоря, что чему быть, того не миновать.

Ритор Тиберий Горобець еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он носил только оселедец, и потому характер его в то время еще мало развился; но, судя по большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов Халява и философ Хома часто дирали его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата.

Был уже вечер, когда они своротили с большой дороги. Солнце только что село, и дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря люльки; ритор Тиберий Горобець сбивал палкою головки с будяков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. Отлогости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся в двух местах нива с вызревавшим житом давала знать, что скоро

должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния.

— Что за черт! — сказал философ Хома Брут,— сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор.

Богослов помолчал, поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали путь.

— Ей-богу! — сказал, опять остановившись, философ.— Ни чертова кулака не видно.

— А может быть, далее и попадется какой-нибудь хутор,— сказал богослов, не выпуская люльки.

Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге.

Философ, пошаривши ногами во все стороны, сказал наконец отрывисто:

— А где же дорога?

Богослов помолчал и, надумавшись, примолвил:

— Да, ночь темная.

Ритор отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в лисьи норы. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники еще сделали усилие пройти несколько вперед, но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой.

— Вишь, что тут делать? — сказал философ.

— А что? оставаться и заночевать в поле! — сказал богослов и полез в карман достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунта четыре сала и чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то

несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков.

— Нет, Халява, не можно,— сказал он.— Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаке? Попробуем еще; может быть, набредем на какое-нибудь жилье и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь.

При слове «горелка» богослов сплюнул в сторону и примолвил:

— Оно конечно, в поле оставаться нечего.

Бурсаки пошли вперед, и, к величайшей радости их, в отдалении почудился лай. Прислушавшись, с которой стороны, они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек.

— Хутор! ей-богу, хутор! — сказал философ.

Предположения его не обманули: через несколько времени они увидели точно небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных дерев торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими возами. Звезды кое-где глянули в это время на небе.

— Смотрите же, братцы, не отставать! во что бы то ни было, а добыть ночлега!

Три ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали:

— Отвори!

Дверь в одной хате заскрыпела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном тулупе.

— Кто там? — закричала она, глухо кашляя.

— Пусти, бабуся, переночевать. Сбились с дороги. Так в поле скверно, как в голодном брюхе.

— А что вы за народ?

— Да народ необидчивый: богослов Халява, философ Брут и ритор Горобець.

— Не можно,— проворчала старуха,— у меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куды я вас дену? Да еще всё какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов. Если таких

пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли! пошли! Тут вам нет места.

— Умилосердись, бабуся! Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что ни про что? Где хочешь помести нас. И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем,— то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что бог один знает. Вот что!

Старуха, казалось, немного смягчилась.

— Хорошо,— сказала она, как бы размышляя,— я впущу вас; только положу всех в разных местах: а то у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать вместе.

— На то твоя воля; не будем прекословить,— отвечали бурсаки.

Ворота заскрыпели, и они вошли на двор.

— А что, бабуся,— сказал философ, идя за старухой,— если бы так, как говорят... ей-богу, в животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту.

— Вишь, чего захотел! — сказала старуха.— Нет у меня, нет ничего такого, и печь не топилась сегодня.

— А мы бы уже за все это,— продолжал философ,— расплатились бы завтра как следует — чистоганом. Да,— продолжал он тихо,— черта с два получишь ты что-нибудь!

— Ступайте, ступайте! и будьте довольны тем, что дают вам. Вот черт принес каких нежных паничей!

Философ Хома пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал преогромный рыбий хвост: богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. И так как он это производил не из какой-нибудь корысти, но единственно по привычке, и, позабывши совершенно о своем карасе, уже разглядывал, что бы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса,— то философ Хома запустил руку в его карман, как в свой собственный, и вытащил карася.

Старуха разместила бурсаков: ритора положила в хате, богослова заперла в пустую комору, философу отвела тоже пустой овечий хлев.

Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду просунувшуюся из другого хлева любопытную свинью и поворотился на другой бок, чтобы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев.

— А что, бабуся, чего тебе нужно? — сказал философ.

Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками.

«Эге-ге! — подумал философ.— Только нет, голубушка! устарела». Он отодвинулся немного подальше, но старуха, без церемонии, опять подошла к нему.

— Слушай, бабуся!— сказал философ,— теперь пост; а я такой человек, что и за тысячу золотых не захочу оскоромиться.

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова.

Философу сделалось страшно, особливо когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском.

— Бабуся! что ты? Ступай, ступай себе с богом! — закричал он.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.

Он вскочил на ноги, с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему.

Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ

едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги; но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам в себе: «Эге, да это ведьма».

Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось,— и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде...

Видит ли он это, или не видит? Наяву ли это, или снится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит,

и вьется, и подступает, и вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью...

«Что это?» — думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятия против духов — и вдруг почувствовал какое-то освежение; чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его. Густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе.

«Хорошо же!» — подумал про себя философ Хома и начал почти вслух произносить заклятия. Наконец с быстротою молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил в свою очередь к ней на спину. Старуха мелким, дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были гладки, но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу; и невольно мелькнула в голове мысль: точно ли это старуха? «Ох, не могу больше!» — произнесла она в изнеможении и упала на землю.

Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица, с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез.

Затрепетал, как древесный лист, Хома: жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему

самому, овладели им; он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное, новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии.

Бурсаков почти никого не было в городе: все разбрелись по хуторам, или на кондиции, или просто без всяких кондиций, потому что по хуторам малороссийским можно есть галушки, сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста, и сколько философ ни шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и западни в крыше, но нигде не отыскал ни куска сала или по крайней мере старого книша, что, по обыкновению, запрятываемо было бурсаками.

Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю: он прошел, посвистывая, раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какою-то молодою вдовою в желтом очипке, продававшею ленты, ружейную дробь и колеса,— и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицею... и, словом, перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике среди вишневого садика. Того же самого вечера видели философа в корчме: он лежал на лавке, покуривая, по обыкновению своему, люльку, и при всех бросил жиду-корчмарю ползолотой. Перед ним стояла кружка. Он глядел на приходивших и уходивших хладнокровно-довольными глазами и вовсе уже не думал о своем необыкновенном происшествии.

Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в пятидесяти верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добресть до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжение трех

дней после смерти читал один из киевских семинаристов: Хома Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, что именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возок.

Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам не зная почему, объявил он напрямик, что не поедет.

— Послушай, domine Хома! — сказал ректор (он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо с своими подчиненными),— тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать, или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню не нужно будет ходить.

Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумье сходил он с крутой лестницы, приводившей на двор, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голос ректора, дававшего приказания своему ключнику и еще кому-то, вероятно одному из посланных за ним от сотника.

— Благодари пана за крупу и яйца,— говорил ректор,— и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы: здесь на базарах и нехороша, и дорога. А ты, Явтух, дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет.

«Вишь, чертов сын! — подумал про себя философ,— пронюхал, длинноногий вьюн!»

Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебный овин на колесах. В самом деле, она была так же глубока, как печь, в которой

обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в каком жиды полсотнею отправляются вместе с товарами во все города, где только слышит их нос ярмарку. Его ожидало человек шесть здоровых и крепких козаков, уже несколько пожилых. Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без славы.

«Что ж делать? Чему быть, тому не миновать!» — подумал про себя философ и, обратившись к козакам, произнес громко:

— Здравствуйте, братья-товарищи!

— Будь здоров, пан философ! — отвечали некоторые из козаков.

— Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами? А брика знатная! — продолжал он, влезая.— Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно.

— Да, соразмерный экипаж! — сказал один из козаков, садясь на облучок сам-друг с кучером, завязавшим голову тряпицею вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие пять вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разною закупкою, сделанною в городе.

— Любопытно бы знать,— сказал философ,— если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром — положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней?

— Да,— сказал, помолчав, сидевший на облучке козак,— достаточное бы число потребовалось коней.

После такого удовлетворительного ответа козак почитал себя вправе молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее: кто таков был этот сотник, каков его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти и которой история связалась теперь с его собственною, как у них и что делается в доме? Он обращался к ним с вопросами; но козаки, верно, были тоже философы,

потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлах вознице с коротеньким приказанием: «Смотри, Оверко, ты старый разиня; как будешь подъезжать к шинку, что на Чухрайловской дороге, то не позабудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть». После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приближилась исполинская брика к шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали: «Стой!» Притом лошади Оверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где жид-корчмарь с знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Жид принес под полою несколько колбас из свинины и, положивши на стол, тотчас отворотился от этого запрещенного талмудом плода. Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки показались пред каждым из гостей. Философ Хома должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями: «А ну, Спирид, почеломкаемся!» — «Иди сюда, Дорош, я обниму тебя!»

Один козак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивши руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери и что он остался одним-один на свете. Другой был большой резонер и беспрестанно утешал его, говоря: «Не плачь, ей-богу не плачь! что ж тут... уж бог знает как и что такое». Один, по имени Дорош, сделался чрезвычайно любопытен и, оборотившись к философу Хоме, беспрестанно спрашивал его:

— Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат: тому ли самому, что и дьяк читает в церкви, или чему другому?

— Не спрашивай! — говорил протяжно резонер,— пусть его там будет, как было. Бог уже знает, как нужно; бог все знает,

— Нет, я хочу знать,— говорил Дорош,— что там написано в тех книжках. Может быть, совсем другое, чем у дьяка.

— О боже мой, боже мой! — говорил этот почтенный наставник.— И на что такое говорить? Так уж воля божия положила. Уже что бог дал, того не можно переменить.

— Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду в бурсу, ей-богу пойду! Что ты думаешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему!

— О боже ж мой, боже мой!..— говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах.

Прочие козаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц.

Философ Хома, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому козаку, грустившему об отце и матери:

— Что ж ты, дядько, расплакался,— сказал он,— я сам сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На что я вам!

— Пустим его на волю! — отозвались некоторые.— Ведь он сирота. Пусть себе идет, куда хочет.

— О боже ж мой, боже мой!— произнес утешитель, подняв свою голову.— Отпустите его! Пусть идет себе!

И козаки уже хотели сами вывесть его в чистое поле, но тот, который показал свое любопытство, остановил их, сказавши:

— Не трогайте: я хочу с ним поговорить о бурсе. Я сам пойду в бурсу...

Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными и дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую.

Только ввечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмостившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал.

Проколесивши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они, наконец, спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол, или плетень, с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они взъехали, в сопровождении собачьего лая, на двор. С обеих сторон были заметны крытые соломою сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы; но как он ни пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде: вместо дома представлялся ему медведь; из трубы делался ректор. Философ махнул рукою и пошел спать.

Когда проснулся философ, то весь дом был в движении: в ночь умерла панночка. Слуги бегали впопыхах взад и вперед. Старухи некоторые плакали. Толпа любопытных глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть.

Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломою. Маленький, острый и высокий фронтон с окошком, похожим на поднятый кверху глаз, был весь измалеван голубыми и желтыми цветами и красными полумесяцами. Он был утвержден на дубовых столбиках, до половины круглых и снизу шестигранных, с вычурною обточкою вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам. С боков дома были навесы на таких же столбиках, инде витых. Высокая груша с пирамидальною верхушкою и трепещущими листьями зеленела перед домом. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя род широкой улицы, ведшей к

дому. За амбарами, к самым воротам, стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке козак, державший над головою кружку с надписью: «Все выпью». На другой фляжка, сулеи и по сторонам, для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны и надпись: «Вино — козацкая потеха». Из чердака одного из сараев выглядывал сквозь огромное слуховое окно барабан и медные трубы. У ворот стояли две пушки. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады; и сквозь верхушки дерев видны были одни только темные шляпки труб скрывавшихся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты; над одною из них раскидывала ветви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями с насыпною землей. Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины вилась по всей горе дорога и, опустившись, шла мимо двора в селенье. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у козаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикою и багажом. Философ стоял на высшем в дворе месте, и, когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое простран-

ство; яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более нежели на двадцать верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметною вдали полосою горел и темнел Днепр.

— Эх, славное место! — сказал философ.— Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и кроншнепами! Впрочем, я думаю, и дроф немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество или, еще лучше, выкурить из них водку; потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится. Да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда.

Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком, промеж хат, да и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку.

Позади его стоял тот самый старый козак, который вчера так горько соболезновал о смерти отца и матери и о своем одиночестве.

— Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора! — говорил он.— Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать; да и дороги для пешехода плохи. А ступай лучше к пану: он ожидает тебя давно в светлице.

— Пойдем! Что ж... Я с удовольствием,— сказал философ и отправился вслед за козаком.

Сотник, уже престарелый, с седыми усами и с выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперши обеими руками голову. Ему было около пятидесяти лет; но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг, в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезли навеки. Когда взошел Хома вместе с старым козаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон.

Хома и козак почтительно остановились у дверей.

— Кто ты, и откудова, и какого звания, добрый человек? — сказал сотник ни ласково, ни сурово.

— Из бурсаков, философ Хома Брут.

— А кто был твой отец?

— Не знаю, вельможный пан.

— А мать твоя?

— И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать; но кто она, и откуда, и когда жила — ей-богу, добродию, не знаю.

Сотник помолчал и, казалось, минуту оставался в задумчивости.

— Как же ты познакомился с моею дочкою?

— Не знакомился, вельможный пан, ей-богу не знакомился. Еще никакого дела с панночками не имел, сколько ни живу на свете. Цур им, чтобы не сказать непристойного.

— Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?

Философ пожал плечами:

— Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что панам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет; и пословица говорит: «Скачи, враже, як пан каже!»

— Да не врешь ли ты, пан философ?

— Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу.

— Если бы только минуточкой долее прожила ты,— грустно сказал сотник,— то, верно бы, я узнал все. «Никому не давай читать по мне, но пошли, тату, сей же час в киевскую семинарию и привези бурсака Хому Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей. Он знает...» А что такое знает, я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человек, верно, известен святою жизнию своею и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе.

— Кто? я? — сказал бурсак, отступивши от изумления.— Я святой жизни? — произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику.— Бог с вами, пан! Что вы это говорите! да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга,

— Ну... верно, уже недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело.

— Я бы сказал на это вашей милости... оно, конечно, всякий человек, вразумленный святому писанию, может по соразмерности... только сюда приличнее бы требовалось дьякона или по крайней мере дьяка. Они народ толковый и знают, как все это уже делается; а я... Да у меня и голос не такой, и сам я — черт знает что. Никакого виду с меня нет.

— Уж как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалею. И когда ты с сего дня три ночи совершишь, как следует, над нею молитвы, то я награжу тебя; а не то — и самому черту не советую рассердить меня.

Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение.

— Ступай за мною! — сказал сотник.

Они вышли в сени. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую насупротив первой. Философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был устлан красною китайкой. В углу, под образами, на высоком столе лежало тело умершей, на одеяле из синего бархата, убранном золотою бахромою и кистями. Высокие восковые свечи, увитые калиною, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который сидел перед нею, обращенный спиною к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал:

— Я не о том жалею, моя наймилейшая мне дочь, что ты во цвете лет своих, не дожив положенного века, на печаль и горесть мне, оставила землю. Я о том жалею, моя голубонька, что не знаю того, кто был, лютый враг мой, причиною твоей смерти. И если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказал что-нибудь неприятное о тебе, то, клянусь богом, не увидел бы он больше своих детей, если только он так же стар, как и я; ни своего отца и матери, если только он еще на поре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным.

Но горе мне, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие из старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и втайне посмеваться над хилым старцем...

Он остановился, и причиною этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потопом слез.

Философ был тронут такою безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое крехтание, желая очистить им немного свой голос.

Сотник оборотился и указал ему место в головах умершей, перед небольшим налоем, на котором лежали книги.

«Три ночи как-нибудь отработаю,— подумал философ,— зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами».

Он приблизился и, еще раз откашлявшись, принялся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую и...

Трепет пробежал по его жилам: пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело, прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось мыслило; брови — ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; уста — рубины, готовые усмехнуться... Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее.

— Ведьма! — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы.

Это была та самая ведьма, которую убил он.

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине, против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедши в кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевши мертвеца.

Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Кухня в сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что ни обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаем и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в козацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на печке — одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежанья. Притом всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем: и о том, кто пошил



Вий

Рисунок М. Микешина. 1876

себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонмотистов, в которых между малороссиянами нет недостатка.

Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очипке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку, иные, за неимением, деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее и волчий голод всего этого собрания немного утишился, многие начали заговаривать. Разговор, натурально, должен был обратиться к умершей.

— Правда ли,— сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торговки,— правда ли, что панночка, не тем будь помянута, зналась с нечистым?

— Кто? панночка? — сказал Дорош, уже знакомый прежде нашему философу.— Да она была целая ведьма! Я присягну, что ведьма!

— Полно, полно, Дорош! — сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать.— Это не наше дело; бог с ним. Нечего об этом толковать.

Но Дорош вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку.

— Что ты хочешь? Чтобы я молчал? — сказал он.— Да она на мне самом ездила! Ей-богу, ездила!

— А что, дядько,— сказал молодой овчар с пуговицами,—можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?

— Нельзя,— отвечал Дорош.— Никак не узнаешь; хоть все псалтыри перечитай, то не узнаешь.

— Можно, можно, Дорош. Не говори этого,— произнес прежний утешитель.— Уже бог недаром дал

всякому особый обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик.

— Когда стара баба, то и ведьма,— сказал хладнокровно седой козак.

— О, уж хороши и вы! — подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок, — настоящие толстые кабаны.

Старый козак, которого имя было Явтух, а прозвание Ковтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху; а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставши один против другого, замычали разом.

Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую сотникову дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю, обратился к соседу своему с такими словами:

— Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает панночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела когонибудь?

— Было всякого,— отвечал один из сидевших, с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату.

— А кто не припомнит псаря Микиту, или того...

— А что ж такое псарь Микита? — сказал философ.

— Стой! я расскажу про псаря Микиту,— сказал Дорош.

— Я расскажу про Микиту,— отвечал табунщик,— потому что он был мой кум.

— Я расскажу про Микиту,— сказал Спирид.

— Пускай, пускай Спирид расскажет! — закричала толпа.

Спирид начал:

— Ты, пан философ Хома, не знал Микиты. Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметки ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него — дрянь, помои.

— Ты хорошо рассказываешь, хорошо! — сказал Дорош, одобрительно кивнув головою.

Спирид продолжал:

— Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистнет: «А ну, Разбой! а ну, Быстрая!» — а сам на коне во всю прыть,— и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит: он ли собаку, или собака его. Сивухи кварту свиснет вдруг, как бы не бывало. Славный был псарь! Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вклепался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала, только пропал человек, обабился совсем; сделался черт знает что; пфу! непристойно и сказать.

— Хорошо,— сказал Дорош.

— Как только панночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает, Разбоя зовет Бровком, спотыкается и невесть что делает. Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня. Дай, говорит, Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой, и с той поры иссохнул весь, как щепка; и когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро: сгорел совсем; сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти.

Когда Спирид окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря.

— А про Шепчиху ты не слышал? — сказал Дорош, обращаясь к Хоме.

— Нет.

— Эге-ге-ге! Так у вас, в бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, слушай! У нас есть на селе козак Шептун. Хороший козак! Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но... хороший

козак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерять, Шептун с жинкою, окончивши вечерю, легли спать, и так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке; или нет: Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе...

— И не на лавке, а на полу легла Шепчиха,— подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.

Дорош поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал:

— Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет.

Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи.

Дорош продолжал:

— А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя — не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась: ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось-либо перестанет выть,— и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка. Да притом пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала,— это бы еще ничего; но вот вещь и обстоятельство: что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала: «Ох, лишечко!» — да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак; сидит и дрожит, глупая баба, а потом видит, что панночка к ней идет и на чердак; кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают! Оно хоть и панского помету, да все когда ведьма, то ведьма.

После такого рассказа Дорош самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты; у другого украла шапку или трубку; у многих девок на селе отрезала косу; у других выпила по нескольку ведер крови.

Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора.

— А ну, пан Хома! теперь и нам пора идти к покойнице,— сказал седой козак, обратившись к философу, и все четверо, в том числе Спирид и Дорош, отправились в церковь, стегая кнутами собак, которых на улице было великое множество и которые со злости грызли их палки.

Философ, несмотря на то что успел подкрепить себя доброю кружкою горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освещенной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть; место становилось обнаженнее. Они вступили наконец за ветхую церковную ограду в небольшой дворик, за которым не было ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощенные ночным мраком луга. Три козака взошли вместе с Хомою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь, по приказанию пана.

Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и наконец уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком.

Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость; сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела; лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся.

— Что ж,— сказал он,— чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего!— повторил он, махнув рукою,— будем читать.

Подходя к крылосу, увидел он несколько связок свечей.

«Это хорошо,— подумал философ,— нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что во храме божием не можно люльки выкурить!»

И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалея их нимало, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз.

Такая страшная, сверкающая красота!

Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови.

Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Одиноко, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу.

«Чего бояться?— думал он между тем сам про себя.— Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится божьего слова. Пусть лежит! Да и что я за козак, когда бы устрашился? Ну, выпил лишнее — оттого и показывается страшно. А понюхать табаку: эх, добрый табак! Славный табак! Хороший табак!»

Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот, вот встанет! вот поднимется, вот выглянет из гроба!»

Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освещенная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей!

Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни. Но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос: «Что, если подымется, если встанет она?»

Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу! Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол.

«Ну, если подымется?..»

Она приподняла голову...

Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. От отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала... идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.

Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один мо-

нах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов.

Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но, не видя ничего, с бешенством — что выразило ее задрожавшее лицо — обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столп и угол, стараясь поймать Хому. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб.

Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга, им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на средине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою.

Сердце у философа билось, и пот катился градом; но, ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой Явтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты.

Пришедши на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечания и съел почти один довольно старого поросенка; но, однако же, о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству и на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия.

Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрерывно поплевывал в сторону.

После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми; из двух хат его даже выгнали; одна смазливая молодка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли — род кеглей, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересною для зрителей: часто погонщик, широкий, как блин, взлезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и Дорош, вскочивши на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно сурьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида. Хома напрасно старался вмешаться в эту игру: какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшеюся по небу.

— А ну, пора нам, пан бурсак!— сказал ему знакомый седой козак, подымаясь с места вместе с Дорошем.— Пойдем на работу.

Хому опять таким же самым образом отвели в церковь; опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви.

— Что же,— произнес он,— теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого разу только страшно. Да! оно только с первого разу немного

страшно, а там оно уже не страшно; оно уже совсем не страшно.

Он поспешно стал на крылос, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло.

Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятья и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова; хрипло всхлипывали они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинания.

Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали с визгом когтями по железу и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце; зажмурив глаза, всё читал он заклятья и молитвы. Наконец вдруг что-то засвистало вдали: это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом.

Вошедшие сменить философа нашли его едва жива. Он оперся спиною в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его козаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панский двор, он встряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпивши ее, он пригладил на голове своей волосы и сказал:

— Много на свете всякой дряни водится! А страхи такие случаются — ну...— При этом философ махнул рукою.

Собравшийся возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. Даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала вправе уполномочивать вместо себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный мальчишка тоже разинул рот.

В это время проходила мимо еще не совсем пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске, выказывавшей ее круглый и крепкий стан, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришпилить к своему очипку: или кусок ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.

— Здравствуй, Хома!— сказала она, увидев философа.— Ай-ай-ай! что это с тобою?— вскричала она, всплеснув руками.

— Как что, глупая баба?

— Ах, боже мой! Да ты весь поседел!

— Эге-ге! Да она правду говорит!— произнес Спирид, всматриваясь в него пристально.— Ты точно поседел, как наш старый Явтух.

Философ, услышавши это, побежал опрометью в кухню, где он заметил прилепленный к стене, обпачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым были натыканы незабудки, барвинки и даже гирлянда из нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов: половина волос его, точно, побелела.

Повесил голову Хома Брут и предался размышлению.

— Пойду к пану,— сказал он наконец,— расскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев.

В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома.

Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице; та же самая безнадежная печаль, какую он встретил

прежде на его лице, сохранялась в нем и доныне. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность.

— Здравствуй, небоже,— произнес он, увидев Хому, остановившегося с шапкою в руках у дверей.— Что, как идет у тебя? Все благополучно?

— Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай куда ноги несут.

— Как так?

— Да ваша, пан, дочка... По здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду; в том никто не станет прекословить; только не во гнев будь сказано, упокой бог ее душу...

— Что же дочка?

— Припустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое писание не учитывается.

— Читай, читай! Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.

— Власть ваша, пан: ей-богу, невмоготу!

— Читай, читай!— продолжал тем же увещательным голосом сотник.— Тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя.

— Да какие бы ни были награды... Как ты себе хочь, пан, а я не буду читать!— произнес Хома решительно.

— Слушай, философ!— сказал сотник, и голос его сделался крепок и грозен,— я не люблю этих выдумок. Ты можешь это делать в вашей бурсе. А у меня не так: я уже как отдеру, так не то, что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные канчуки?

— Как не знать!— сказал философ, понизив голос.— Всякому известно, что такое кожаные канчуки: при большом количестве вещь нестерпимая.

— Да. Только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить!— сказал сотник грозно, подымаясь на

ноги, и лицо его приняло повелительное и свирепое выражение, обнаружившее весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью.— У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять. Ступай, ступай! исправляй свое дело! Не исправишь — не встанешь; а исправишь — тысяча червонных!

«Ого-го! да это хват!— подумал философ, выходя.— С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель: я так навострю лыжи, что ты с своими собаками не угонишься за мною».

И Хома положил непременно бежать. Он выжидал только послеобеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараями и, открывши рот, испускать такой храп и свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику. Это время наконец настало. Даже и Явтух зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда, ему казалось, удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад, по обыкновению, был страшно запущен и, стало быть, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал, как будто сетью, вершину всего этого пестрого собрания дерев и кустарников и составлял над ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границею сада, шел целый лес бурьяна, в который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы вдребезги, если бы захотела коснуться лезвеем своим одеревеневших толстых стеблей его.

Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала к земле, как будто ее кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, ему казалось, с

оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос: «Куда, куда?» Философ юркнул в бурьян и пустился бежать, беспрестанно оступаясь о старые корни и давя ногами своими кротов. Он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которым чернел густой терновник, где он считал себя безопасным и пройдя который он, по предположению своему, думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив, вместо пошлины, куски своего сюртука на каждом остром шипе, и очутился на небольшой лощине. Верба разделившимися ветвями преклонялась инде почти до самой земли. Небольшой источник сверкал, чистый, как серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что он чувствовал жажду нестерпимую.

— Добрая вода!— сказал он, утирая губы.— Тут бы можно отдохнуть.

— Нет, лучше побежим вперед: неравно будет погоня!

Эти слова раздались у него над ушами. Он оглянулся: перед ним стоял Явтух.

«Чертов Явтух!— подумал в сердцах про себя философ.— Я бы взял тебя, да за ноги... И мерзкую рожу твою и все, что ни есть на тебе, побил бы дубовым бревном».

— Напрасно дал ты такой крюк,— продолжал Явтух,— гораздо лучше выбрать ту дорогу, по какой шел я: прямо мимо конюшни. Да притом и сюртука жаль. А сукно хорошее. Почем платил за аршин? Однако ж погуляли довольно, пора и домой.

Философ, почесываясь, побрел за Явтухом. «Теперь проклятая ведьма задаст мне пфейферу!— подумал он.— Да, впрочем, что я в самом деле? Чего боюсь? Разве я не козак? Ведь читал же две ночи, поможет бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит».

Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободривши себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские

погреба, вытащить сулею сивухи, и оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра, так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал: «Музыкантов! непременно музыкантов!» — и, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вот это как долго танцует человек!» Наконец философ тут же лег спать, и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину. За ужином он говорил о том, что такое козак и что он не должен бояться ничего на свете.

— Пора, — сказал Явтух, — пойдем.

«Спичка тебе в язык, проклятый кнур!» — подумал философ и, встав на ноги, сказал:

— Пойдем.

Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своими провожатыми. Но Явтух молчал; сам Дорош был неразговорчив. Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей. И самый лай собачий был как-то страшен.

— Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк, — сказал Дорош.

Явтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего.

Они приблизились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показывавшие, как мало заботился владетель поместья о боге и о душе своей. Явтух и Дорош, по-прежнему, удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно-знакомом виде. Он на минуту остановился. Посередине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь, ей-богу не побоюсь!» — сказал он и, очертивши по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная; свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его: чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим. Вдруг... среди

тишины... с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в божью церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хомы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился да читал как попало молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их; видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом.

— Приведите Вия! ступайте за Вием!— раздались слова мертвеца.

И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

— Подымите мне веки: не вижу!— сказал подземным голосом Вий — и все сонмище кинулось подымать ему веки.

«Не гляди!»— шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он!— закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха.

Раздался петуший крик. Это был уже второй крик; первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамленья божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдет теперь к ней дороги.

Когда слухи об этом дошли до Киева и богослов Халява услышал наконец о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжение того времени произошли большие перемены. Счастие ему улыбнулось: по окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана.

— Ты слышал, что случилось с Хомою?— сказал, подошедши к нему, Тиберий Горобець, который в то время был уже философ и носил свежие усы.

— Так ему бог дал,— сказал звонарь Халява.— Пойдем в шинок да помянем его душу!

Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.

— Славный был человек Хома!— сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью

кружку.— Знатный был человек! А пропал ни за что.

— А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре,— все ведьмы.

На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но, заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл, по прежней привычке своей, утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ

ГЛАВА I

ИВАН ИВАНОВИЧ И ИВАН НИКИФОРОВИЧ

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты, пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у когслибо найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них,— особенно если он станет с кем-нибудь говорить,— взгляните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи боже мой! Николай Чудотворец, угодник божий! отчего же у меня нет такой бекеши! Он сшил ее тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? та самая, что откусила ухо у заседателя.

Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него дом в Миргороде! Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет с себя и бекешу и исподнее, сам останется в одной рубашке и отдыхает под навесом и глядит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами! Отворите только окно — так ветви и

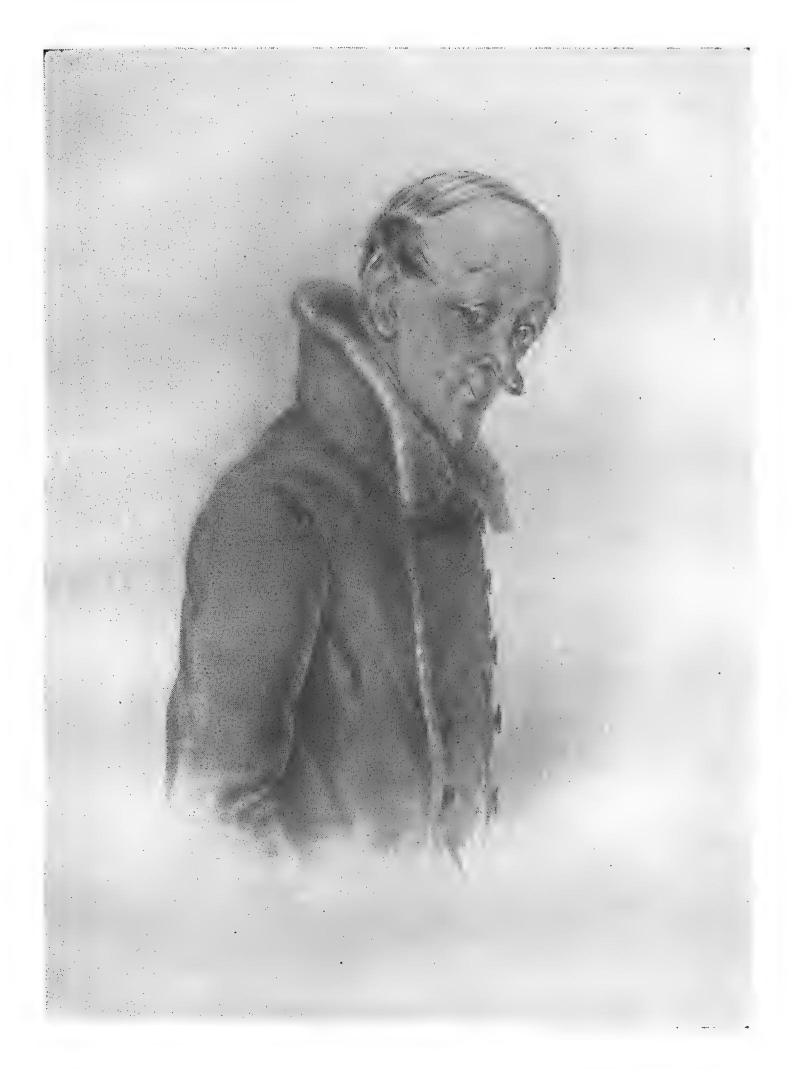
врываются в комнату. Это все перед домом; а посмотрели бы, что у него в саду! Чего там нет! Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом велит Гапке принести чернильницу и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: «Сия дыня съедена такого-то числа». Если при этом был какой-нибудь гость, то: «участвовал такой-то».

Покойный судья миргородский всегда любовался, глядя на дом Ивана Ивановича. Да, домишко очень недурен. Мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени и сенички, так что если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очеретом; ива, дуб и две яблони облокотились на них своими раскидистыми ветвями. Промеж дерев мелькают и выбегают даже на улицу небольшие окошки с резными выбеленными ставнями.

Прекрасный человек Иван Иванович! Его знает и комиссар полтавский! Дорош Тарасович Пухивочка, когда едет из Хорола, то всегда заезжает к нему. А протопоп отец Петр, что живет в Колиберде, когда соберется у него человек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович.

Боже, как летит время! уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Гапки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носит ключи от комор и погребов; от большого же сундука, что стоит в его спальне, и от средней коморы ключ Иван Иванович держит у себя и не любит никого туда пускать. Гапка,



Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем

Рисунок П. Боклевского. [1882]

девка здоровая, ходит в *запаске*, с свежими икрами и щеками.

А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Взошедши в нее, Иван Иванович, раскланявшись на все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтоб не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждала его к тому природная доброта.

— Здорово, небого![1] — обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу, в изодранном, сшитом из заплат платье.— Откуда ты, бедная?

— Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети.

— Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?

— А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.

— Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба?— обыкновенно спрашивал Иван Иванович.

— Как не хотеть! голодна, как собака.

— Гм!— отвечал обыкновенно Иван Иванович.— Так тебе, может, и мяса хочется?

— Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.

— Гм! разве мясо лучше хлеба?

— Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.

При этом старуха обыкновенно протягивала руку.

— Ну, ступай же с богом,— говорил Иван Иванович.— Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!— и, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой, или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу, или к судье, или к городничему.

Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостинец. Это ему очень нравится.

---

[1] Бедная. (*Прим. Н. В. Гоголя.*)

Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собою приятели, каких свет не производил. Антон Прокофьевич Пупопуз, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется.

Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя проговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? Так, как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом назади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужным опровергать пред просвещенными читателями, которым, без всякого сомнения, известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть назади хвост, которые, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому.

Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры их из сравнения: Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь — и голову повесишь. Приятно! чрезвычайно приятно! как сон после купанья. Иван Никифорович, напротив, больше молчит, но зато если влепит словцо, то держись только: отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом; ввечеру же надевает бекешу и идет куда-нибудь — или к городовому магазину, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день

на крыльце,— если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце,— и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство, и опять на покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Никифорович иногда не обережется; тогда обыкновенно Иван Иванович встает с места и говорит: «Довольно, довольно, Иван Никифорович; лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова». Иван Иванович очень сердится, если ему попадется в борщ муха: он тогда выходит из себя — и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе. Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифорович один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! Если ж чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он, или сердит; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву *ижицу;* у Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы. Иван Иванович если попотчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднесши, скажет, если вы с ним знакомы: «Смею ли просить, государь мой, об одолжении?»; если же незнакомы, то: «Смею ли просить, государь мой, не имея чести знать чина, имени и отечества, об одолжении?» Иван же Никифорович дает вам прямо в руки рожок

свой и прибавит только: «Одолжайтесь». Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох; и оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят жида с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых, выбранив наперед его хорошенько за то, что он исповедует еврейскую веру.

Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович прекрасные люди.

ГЛАВА II,

ИЗ КОТОРОЙ МОЖНО УЗНАТЬ, ЧЕГО ЗАХОТЕЛОСЬ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ, О ЧЕМ ПРОИСХОДИЛ РАЗГОВОР МЕЖДУ ИВАНОМ ИВАНОВИЧЕМ И ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ И ЧЕМ ОН ОКОНЧИЛСЯ

Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе, успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему; уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа, он долго оглядывал коморы, двор, сараи, кур, бегавших по двору, и думал про себя: «Господи боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, всякая прихоть, водка перегонная настоянная; в саду груши, сливы; в огороде мак, капуста, горох... Чего ж еще нет у меня?.. Хотел бы я знать, чего нет у меня?»

Задавши себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался; а между тем глаза его отыскали новые предметы, перешагнули чрез забор в двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир с изношенными обшлагами протянул на воздух рукава и обнимал парчовую кофту, за ним высунулся дворянский, с гербовыми пуговицами, с отъеденным воротником; бе-

лые казимировые панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. За ними скоро повисли другие, в виде буквы Л. Потом синий козацкий бешмет, который шил себе Иван Никифорович назад тому лет двадцать, когда готовился было вступить в милицию и отпустил было уже усы. Наконец, одно к одному, выставилась шпага, походившая на шпиц, торчавший в воздухе. Потом завертелись фалды чего-то похожего на кафтан травяно-зеленого цвета, с медными пуговицами величиною в пятак. Из-за фалд выглянул жилет, обложенный золотым позументом, с большим вырезом напереди. Жилет скоро закрыла старая юбка покойной бабушки, с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище, между тем как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлаг или часть золотой парчи, или играя на шпажном шпице, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который развозят по хуторам кочующие пройдохи. Особливо когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода в золотой короне или на Антона, ведущего козу; за вертепом визжит скрыпка; цыган бренчит руками по губам своим вместо барабана, а солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам и грудям полных хуторянок.

Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами.

«Вот глупая баба! — подумал Иван Иванович,— она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать!»

И точно: Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье.

«Что ж это значит?— подумал Иван Иванович,— я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что ж это он? стрелять не стреляет, а ружье держит! На что ж оно ему? А вещица славная! Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо; я люблю позабавиться ружьецом».

— Эй, баба, баба! — закричал Иван Иванович, кивая пальцем.

Старуха подошла к забору.

— Что это у тебя, бабуся, такое?

— Видите сами, ружье.

— Какое ружье?

— Кто его знает, какое! Если б оно было мое, то я, может быть, и знала бы, из чего оно сделано. Но оно панское.

Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон и позабыл дать выговор старухе за то, что повесила его вместе с шпагою проветривать.

— Оно, должно думать, железное,— продолжала старуха.

— Гм! железное. Отчего ж оно железное?— говорил про себя Иван Иванович.— А давно ли оно у пана?

— Может быть, и давно.

— Хорошая вещица!— продолжал Иван Иванович.— Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь. Что, бабуся, дома пан?

— Дома.

— Что он? лежит?

— Лежит.

— Ну, хорошо; я приду к нему.

Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей, и пошел.

Двор Ивана Никифоровича хотя был возле двора Ивана Ивановича и можно было перелезть из одного в другой через плетень, однако ж Иван Иванович пошел улицею. С этой улицы нужно было перейти в переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, покамест, схвативши за задние колеса, не выта-

скивали их каждую в противную сторону на улицу. Пешеход же убирался, как цветами, репейниками, росшими с обеих сторон возле забора. На этот переулок выходили с одной стороны сарай Ивана Ивановича, с другой — амбар, ворота и голубятня Ивана Никифоровича.

Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой: извнутри поднялся собачий лай; но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами, назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Иван Иванович перешел двор, на котором пестрели индейские голуби, кормимые собственноручно Иваном Никифоровичем, корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное колесо, или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке,— картина, которую любят живописцы! Тень от развешанных платьев покрывала почти весь двор и сообщала ему некоторую прохладу. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалось крылечко с навесом на двух дубовых столбах — ненадежная защита от солнца, которое в это время в Малороссии не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Ивана Ивановича приобресть необходимую вещь, когда он решился выйти в такую пору, изменив даже своему всегдашнему обыкновению прогуливаться только вечером.

Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретяных крыш, дерев и развешанного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет.

— Помоги бог! — сказал Иван Иванович.

— А! здравствуйте, Иван Иванович! — отвечал голос из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разостланном на полу ковре.— Извините, что я перед вами в натуре.

Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки.

— Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович?

— Почивал. А вы почивали, Иван Иванович?

— Почивал.

— Так вы теперь и встали?

— Я теперь встал? Христос с вами, Иван Никифорович! как можно спать до сих пор! Я только что приехал из хутора. Прекрасные жита по дороге! восхитительные! и сено такое рослое, мягкое, злачное!

— Горпина! — закричал Иван Никифорович,— принеси Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаною.

— Хорошее время сегодня.

— Не хвалите, Иван Иванович. Чтоб его черт взял! некуда деваться от жару.

— Вот-таки нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович! Вы вспомните мое слово, да уже будет поздно: достанется вам на том свете за богопротивные слова.

— Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел.

— Полно уже, полно, Иван Никифорович!

— Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович!

— Странно, что перепела до сих пор нейдут под дудочку.

— Как вы себе хотите, думайте что вам угодно, только я вас не обидел ничем.

— Не знаю, отчего они нейдут,— говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича.— Время ли не приспело еще, только время, кажется, такое, какое нужно.

— Вы говорите, что жита хорошие?

— Восхитительные жита, восхитительные!

За сим последовало молчание.

— Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете?— наконец сказал Иван Иванович.

— Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь проветриваю; сукно тонкое, превосходное, только выворотн — и можно снова носить.

— Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович.

— Какая?

— Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем?— Тут Иван Иванович поднес табаку.— Смею ли просить об одолжении?

— Ничего, одолжайтесь! я понюхаю своего!— При этом Иван Никифорович пощупал вокруг себя и достал рожок.— Вот глупая баба, так она и ружье туда же повесила! Хороший табак жид делает в Сорочинцах. Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое! На канупер немножко похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли, похоже на канупер? Возьмите, одолжайтесь!

— Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья: что вы будете с ним делать? ведь оно вам не нужно.

— Как не нужно? а случится стрелять?

— Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве по втором пришествии. Вы, сколько я знаю и другие запомнят, ни одной еще качки[1] не убили, да и ваша натура не так уже господом богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще, что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. (Иван Иванович, как упомянуто выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил! Боже, как он говорил!) Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне!

— Как можно! это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я, еще как собирался в милицию, купил его у турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его? Как можно? это вещь необходимая.

— На что же она необходимая?

— Как на что? А когда нападут на дом разбойники... Еще бы не необходимая. Слава тебе господи! теперь я

[1] То есть утки. (*Прим. Н. В. Гоголя.*)

спокоен и не боюсь никого. А отчего? Оттого, что я знаю, что у меня стоит в коморе ружье.

— Хорошее ружье! Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен.

— Что ж, что испорчен? Можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтоб не ржавел.

— Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни.

— Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно! Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки, и что ж? разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают чрез плетень в мой двор и играют с моими собаками — я ничего не говорю: пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали! пусть себе играют!

— Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.

— Что ж вы дадите мне за него?— При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ивана Ивановича.

— Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу. Славная свинья! Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.

— Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать.

— Опять! без черта-таки нельзя обойтись! Грех вам, ей-богу грех, Иван Никифорович!

— Как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает что такое: свинью!

— Отчего же она — черт знает что такое, Иван Никифорович?

— Как же, вы бы сами посудили хорошенько. Это-таки ружье, вещь известная; а то — черт знает что такое: свинья! Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону.

— Что ж нехорошего заметили вы в свинье?

— За кого же, в самом деле, вы принимаете меня? чтоб я свинью...

— Садитесь, садитесь! не буду уже... Пусть вам остается ваше ружье, пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в коморе,— не хочу больше говорить о нем.

После этого последовало молчание.

— Говорят,— начал Иван Иванович,— что три короля объявили войну царю нашему.

— Да, говорил мне Петр Федорович. Что ж это за война? и отчего она?

— Наверное не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.

— Вишь, дурни, чего захотели!— произнес Иван Никифорович, приподнявши голову.

— Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову!

— Что ж? ведь наши побьют их, Иван Иванович!

— Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца?

— Мне странно, Иван Иванович: вы, кажется, человек, известный ученостью, а говорите как недоросль. Что бы я за дурак такой...

— Садитесь, садитесь. Бог с ним! пусть оно себе околеет; не буду больше говорить!..

В это время принесли закуску.

Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом с сметаною.

— Слушайте, Иван Никифорович. Я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса, ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.

— Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись. (Это еще ничего, Иван Никифорович и не такие фразы отпускает.) Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Небось бекеши своей не поставите.

— Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам.

— Как! два мешка овса и свинью за ружье?

— Да что ж, разве мало?

— За ружье?

— Конечно, за ружье.

— Два мешка за ружье?

— Два мешка не пустых, а с овсом; а свинью позабыли?

— Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не хотите, так с чертом!

— О! вас зацепи только! Увидите: нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговору с вами нужно и лицо и руки умыть и самому окуриться.

— Позвольте, Иван Иванович; ружье вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное...

— Вы, Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как *дурень с писаною торбою*,— сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться.

— А вы, Иван Иванович, настоящий *гусак* [1].

Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, как всегда, приятелями; но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул.

— Что вы такое сказали, Иван Никифорович?— спросил он, возвысив голос.

— Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович!

— Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем?

— Что ж тут поносного? Да чего вы, в самом деле, так размахались руками, Иван Иванович?

— Я повторяю, как вы осмелились, в противность всех приличий, назвать меня гусаком?

— Начхать я вам на голову, Иван Иванович! Что вы так раскудахтались?

Иван Иванович не мог более владеть собою: губы его дрожали; рот изменил обыкновенное положение *ижи-*

---

[1] То есть гусь-самец. (*Прим. Н. В. Гоголя.*)

цы, а сделался похожим на *О;* глазами он так мигал, что сделалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно редко. Нужно было для этого его сильно рассердить.

— Так я ж вам объявляю,— произнес Иван Иванович,— что я знать вас не хочу!

— Большая беда! ей-богу, не заплачу от этого!— отвечал Иван Никифорович.

Лгал, лгал, ей-богу лгал! ему очень было досадно это.

— Нога моя не будет у вас в доме.

— Эге-ге!— сказал Иван Никифорович, с досады не зная сам, что делать, и, против обыкновения, встав на ноги.— Эй, баба, хлопче!— При сем показалась из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук.— Возьмите Ивана Ивановича за руки да выведите его за двери!

— Как! Дворянина?— закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович.— Осмельтесь только! подступите! Я вас уничтожу с глупым вашим паном! Ворон не найдет места вашего! (Иван Иванович говорил необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена.)

Вся группа представляла сильную картину: Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей без всякого украшения! Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину! Иван Иванович с поднятою вверх рукою, как изображались римские трибуны! Это была необыкновенная минута! спектакль великолепный! И между тем только один был зрителем: это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос.

Наконец Иван Иванович взял шапку свою.

— Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович! прекрасно! Я это припомню вам.

— Ступайте, Иван Иванович, ступайте! да глядите, не попадайтесь мне: а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью!

— Вот вам за это, Иван Никифорович! — отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом захрипела и отворилась снова.

Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора.

ГЛАВА III

ЧТО ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ ССОРЫ ИВАНА ИВАНОВИЧА С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ?

Итак, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздор, за гусака. Не захотели видеть друг друга, прервали все связи, между тем как прежде были известны за самых неразлучных друзей! Каждый день, бывало, Иван Иванович и Иван Никифорович посылают друг к другу узнать о здоровье и часто переговариваются друг с другом с своих балконов и говорят друг другу такие приятные речи, что сердцу любо слушать было. По воскресным дням, бывало, Иван Иванович в штаметовой бекеше, Иван Никифорович в нанковом желто-коричневом казакине отправляются почти об руку друг с другом в церковь. И если Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, первый замечал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает иногда в Миргороде, то всегда говорил Ивану Никифоровичу: «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо». Иван Никифорович с своей стороны показывал тоже самые трогательные знаки дружбы и, где бы ни стоял далеко, всегда протянет к Ивану Ивановичу руку с рожком, примолвивши: «Одолжайтесь!» А какое прекрасное хозяйство у обоих!.. И эти два друга... Когда я услышал об этом, то меня как громом поразило! Я долго не хотел верить: боже праведный! Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем! Такие достойные люди! Что ж теперь прочно на этом свете?

Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, ест ли кобылка сено (у Ивана Ивановича кобылка саврасая, с лысинкой на лбу; хорошая очень лошадка); потом покормит индеек и поросенков из своих рук и тогда уже идет в покои, где или делает деревянную посуду (он очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева), или читает книжку, печатанную у Любия Гария и Попова (названия ее Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя), или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивши Гапку, начал бранить, зачем она шатается без дела, между тем как она тащила крупу в кухню; кинул палкой в петуха, который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей; и когда подбежал к нему запачканный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал: «Тятя, тятя, дай пряника!» — то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный мальчишка забежал бог знает куда.

Наконец, однако ж, он одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать и уже ввечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила Гапка, выгнал совершенно утреннее происшествие. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство. Наконец остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе: «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича; пойду-ка к нему». Сказавши это, Иван Иванович взял палку и шапку и отправился на улицу; но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад. Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением перелезть в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифоровича: «Назад! назад! не нужно!» Однако ж Ивану Ивановичу сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшест-

вие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла в готовый погаснуть огонь вражды.

К Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня приехала Агафия Федосеевна. Агафия Федосеевна не была ни родственницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад; однако ж она ездила и проживала у него по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу, однако ж он, к удивлению, слушал ее, как ребенок, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафия Федосеевна брала верх.

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайника? Или руки их так созданы, или носы наши ни на что более не годятся. И несмотря, что нос Ивана Никифоровича был несколько похож на сливу, однако ж она схватила его за этот нос и водила за собою, как собачку. Он даже изменял при ней, невольно, обыкновенный свой образ жизни: не так долго лежал на солнце, если же и лежал, то не в натуре, а всегда надевал рубашку и шаровары, хотя Агафия Федосеевна совершенно этого не требовала. Она была неохотница до церемоний, и, когда у Ивана Никифоровича была лихорадка, она сама своими руками вытирала его с ног до головы скипидаром и уксусом. Агафия Федосеевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами. Весь стан ее похож был на кадушку, и оттого отыскать ее талию было так же трудно, как увидеть без зеркала свой нос. Ножки ее были коротенькие, сформированные на образец двух подушек. Она сплетничала, и ела вареные бураки по утрам, и отлично хорошо ругалась,— и при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показывать одни только женщины.

Как только она приехала, все пошло навыворот.

— Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения: он тебя погубить хочет, это таковский человек! Ты его еще не знаешь.

Шушукала, шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче.

Все приняло другой вид: если соседняя собака затесалась когда на двор, то ее колотили чем ни попало; ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и с знаками розг на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел было ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликатный, плюнул и примолвил только: «Экая скверная баба! хуже своего пана!»

Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз чрез плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью: в один день.

Это возбудило в Иване Ивановиче злость и желание отомстить. Он не показал, однако ж, никакого вида огорчения, несмотря на то что хлев даже захватил часть его земли; но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие.

Так провел он день. Настала ночь... О, если б я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи! Я бы изобразил, как спит весь Миргород; как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды; как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак; как мимо их несется влюбленный пономарь и перелазит чрез плетень с рыцарскою бесстрашностию; как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее, тень от дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно со всех углов заводят свои трескучие песни. Я бы изобразил, как в одном из этих низеньких глиняных

домиков разметавшейся на одинокой постеле чернобровой горожанке с дрожащими молодыми грудями снится гусарский ус и шпоры, а свет луны смеется на ее щеках. Я бы изобразил, как по белой дороге мелькает черная тень летучей мыши, садящейся на белые трубы домов... Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилою в руке. Столько на лице у него было написано разных чувств! Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах; подлезши к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить. Шум, производимый пилою, заставлял его поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен; Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван Иванович вскрикнул и обомлел: ему показался мертвец; но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй столб подпилен: здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу; уже более половины его было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось... Иван Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Схвативши пилу, в страшном испуге прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно на следствия своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался: старая баба, Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке — все с дрекольями, предводительствуемые Агафией Федосеевной, шли разорять и ломать его дом.

Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отмщение за это по крайней мере подожжет дом его. И потому он дал повеление Гапке поминутно обсматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы,

Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в миргородский поветовый суд. В чем оно состояло, об этом можно узнать из следующей главы.

ГЛАВА IV,

О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В ПРИСУТСТВИИ МИРГОРОДСКОГО ПОВЕТОВОГО СУДА

Чудный город Миргород! Каких в нем нет строений! И под соломенною, и под очеретяною, даже под деревянною крышею; направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень; по нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы... Роскошь! Плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным: или напяленною плахтою, или сорочкою, или шароварами. В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вешает, что ему вздумается. Если будете подходить к площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Домы и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее.

Но я тех мыслей, что нет лучше дома, как повстовый суд. Дубовый ли он, или березовый, мне нет дела; но в нем, милостивые государи, восемь окошек! восемь окошек в ряд, прямо на площадь и на то водное пространство, о котором я уже говорил и которое городничий называет озером! Один только он окрашен цветом гранита: прочие все домы в Миргороде просто выбелены. Крыша на нем вся деревянная, и была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярские, приправивши луком, не съели, что было, как нарочно, во время по-

ста, и крыша осталась некрашеною. На площадь выступает крыльцо, на котором часто бегают куры, оттого что на крыльце всегда почти рассыпаны крупы или что-нибудь съестное, что, впрочем, делается не нарочно, но единственно от неосторожности просителей. Он разделен на две половины: в одной *присутствие*, в другой *арестантская*. В той половине, где присутствие, находятся две комнаты чистые, выбеленные: одна — передняя для просителей; в другой стол, убранный чернильными пятнами; на нем зерцало. Четыре стула дубовые с высокими спинками; возле стен сундуки, кованные железом, в которых сохранялись кипы поветовой ябеды. На одном из этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный ваксою. Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тонее Ивана Никифоровича, с доброю миною, в замасленном халате, с трубкою и чашкою чаю, разговаривал с подсудком. У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу, сколько душе угодно было. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее. Итак, судья разговаривал с подсудком. Босая девка держала в стороне поднос с чашками.

В конце стола секретарь читал решение дела, но таким однообразным и унывным тоном, что сам подсудимый заснул бы слушая. Судья, без сомнения, это бы сделал прежде всех, если бы не вошел в занимательный между тем разговор.

— Я нарочно старался узнать,— говорил судья, прихлебывая чай уже с простывшей чашки,— каким образом это делается, что они поют хорошо. У меня был славный дрозд года два тому назад. Что ж? вдруг испортился совсем. Начал петь бог знает что. Чем далее, хуже, хуже, стал картавить, хрипеть, — хоть выбрось! А ведь самый вздор! это вот отчего делается: под горлышком делается бобон, меньше горошинки. Этот бобончик нужно только проколоть иголкою. Меня научил этому Захар Прокофьевич, и именно, если хотите, я вам расскажу, каким это было образом: приезжаю я к нему...

— Прикажете, Демьян Демьянович, читать другое? — прервал секретарь, уже несколько минут как окончивший чтение.

— А вы уже прочитали? Представьте, как скоро! Я и не услышал ничего! Да где ж оно? дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас?

— Дело козака Бокитька о краденой корове.

— Хорошо, читайте! Да, так приезжаю я к нему... Я могу даже рассказать вам подробно, как он угостил меня. К водке был подан балык, единственный! Да, не нашего балыка, которым, — при этом судья сделал языком и улыбнулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, — которым угощает наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога под ложечкою. Но икры отведал; прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потом выпил я водки персиковой, настоянной на золототысячник. Была и шафранная; но шафранной, как вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: наперед, как говорят, раззадорить аппетит, а потом уже завершить... А! слыхом слыхать, видом видать... — вскричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича.

— Бог в помощь! желаю здравствовать! — произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны с свойственною ему одному приятностию. Боже мой, как он умел обворожить всех своим обращением! Тонкости такой я нигде не видывал. Он знал очень хорошо сам свое достоинство и потому на всеобщее почтение смотрел, как на должное. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу, нос его потянул с верхней губы весь табак, что всегда было у него знаком большого удовольствия.

— Чем прикажете потчевать вас, Иван Иванович? — спросил он. — Не прикажете ли чашку чаю?

— Нет, весьма благодарю, — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.

— Сделайте милость, одну чашечку! — повторил судья.

— Нет, благодарю. Весьма доволен гостеприимством, — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.

— Одну чашку,— повторил судья.

— Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович!

При этом Иван Иванович поклонился и сел.

— Чашечку?

— Уж так и быть, разве чашечку!— произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу.

Господи боже! какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки!

— Не прикажете ли еще чашечку?

— Покорно благодарствую,— отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь.

— Сделайте одолжение, Иван Иванович!

— Не могу. Весьма благодарен.— При этом Иван Иванович поклонился и сел.

— Иван Иванович! сделайте дружбу, одну чашечку!

— Нет, весьма обязан за угощение.

Сказавши это, Иван Иванович поклонился и сел.

— Только чашечку! одну чашечку!

Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку.

Фу ты пропасть! как может, как найдется человек поддержать свое достоинство!

— Я, Демьян Демьянович,— говорил Иван Иванович, допивая последний глоток,— я к вам имею необходимое дело: я подаю позов.— При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги.— Позов на врага своего, на заклятого врага.

— На кого же это?

— На Ивана Никифоровича Довгочхуна.

При этих словах судья чуть не упал со стула.

— Что вы говорите!— произнес он, всплеснув руками.— Иван Иванович! вы ли это?

— Видите сами, что я.

— Господь с вами и все святые! Как! вы, Иван Иванович, стали неприятелем Ивану Никифоровичу? Ваши ли это уста говорят? Повторите еще! Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас?..

— Что ж тут невероятного. Я не могу смотреть на него; он нанес мне смертную обиду, оскорбил честь мою.

— Пресвятая троица! как же мне теперь уверить матушку! А она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрою, говорит: «Вы, детки, живете между собою, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья так друзья! то-то приятели! то-то достойные люди!» Вот тебе и приятели! Расскажите, за что же это? как?

— Это дело деликатное, Демьян Демьянович! па словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот, возьмите с этой стороны, здесь приличнее.

— Прочитайте, Тарас Тихонович! — сказал судья, оборотившись к секретарю.

Тарас Тихонович взял просьбу и, высморкавшись таким образом, как сморкаются все секретари по поветовым судам, с помощию двух пальцев, начал читать:

— «От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошение; а о чем, тому следуют пункты:

1) Известный всему свету своими богопротивными, в омерзение приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, сего 1810 года июля 7 дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижение и конфузию чина моего и фамилии. Оный дворянин, и сам притом гнусного вида, характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами...»

Тут чтец немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья с благоговением сложил руки и только говорил про себя:

— Что за бойкое перо! Господи боже! как пишет этот человек!

Иван Иванович просил читать далее, и Тарас Тихонович продолжал:

— «Оный дворянин, Иван, Никифоров сын, Довгочхун, когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно: *гусаком*, тогда как извест-

по всему Миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен. Доказательством же дворянского моего происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви *Трех Святителей*, записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение. *Гусак* же, как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо *гусак* есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему в семинарии, достоверно известно. Но оный злокачественный дворянин, будучи обо всем этом сведущ, не для чего иного, как чтобы нанесть смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня оным гнусным словом.

2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, собственность, тем, что, в противность всяким законам, перенес совершенно насупротив моего крыльца гусиный хлев, что делалось не с иным каким намерением, как чтоб усугубить нанесенную мне обиду, ибо оный хлев стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение вышеупомянутого дворянина состояло единственно в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей: ибо известно, что всякий человек не пойдет в хлев, тем паче в гусиный, для приличного дела. При таком противузаконном действии две передние сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, начинавшуюся от амбара и прямою линией до самого того места, где бабы моют горшки.

3) Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из нижеследующего явствуют: во-1-х, оный злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде

никогда, по причине своей лености и гнусной тучности тела, не предпринимал; во-2-х, в людской его, примыкающей о самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мною от покойного родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явное есть к тому доказательство, ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потушаем.

И потому прошу оного дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, яко повинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предосудительном присовокуплении к фамилии моей названія *гусака*, ко взысканию штрафа, удовлетворения проторей и убытков присудить и самого, яко нарушителя, в кандалы забить и, заковавши, в городскую тюрьму препроводить, и по сему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить.— Писал и сочинял дворянин, миргородский помещик Иван, Иванов сын, Перерепенко».

По прочтении просьбы судья приблизился к Ивану Ивановичу, взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом:

— Что это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь! бросьте просьбу, пусть она пропадает! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь, да купите сантуринского, или никопольского, или хоть просто сделайте пуншику, да позовите меня! Разопьем вместе и позабудем всё!

— Нет, Демьян Демьянович! не такое дело,— сказал Иван Иванович с важностию, которая так всегда шла к нему.— Не такое дело, чтобы можно было решить полюбовною сделкою. Прощайте! Прощайте и вы, господа!— продолжал он с тою же важностию, оборотившись ко всем.— Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие.— И ушел, оставив в изумлении все присутствие.

Судья сидел, не говоря ни слова; секретарь нюхал табак; канцелярские опрокинули разбитый черепок бутылки, употребляемый вместо чернильницы; и сам

судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу.

— Что вы скажете на это, Дорофей Трофимович? — сказал судья, после некоторого молчания обратившись к подсудку.

— Ничего не скажу, — отвечал подсудок.

— Экие дела делаются! — продолжал судья.

Не успел он этого сказать, как дверь затрещала и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие, остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифоровича, и еще в суд, так показалось необыкновенным, что судья вскрикнул; секретарь прервал свое чтение. Один канцелярист, в фризовом подобии полуфрака, взял в губы перо; другой проглотил муху. Даже отправлявший должность фельдъегеря и сторожа инвалид, который до того стоял у дверей, почесывая в своей грязной рубашке с нашивкою на плече, даже этот инвалид разинул рот и наступил кому-то на ногу.

— Какими судьбами! что и как? Как здоровье ваше, Иван Никифорович?

Но Иван Никифорович был ни жив ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Напрасно судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь из находившихся там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу. В передней находилась одна только старуха просительница, которая, несмотря на все усилия своих костистых рук, ничего не могла сделать. Тогда один из канцелярских, с толстыми губами, с широкими плечами, с толстым носом, глазами, глядевшими скоса и пьяна, с разодранными локтями, приблизился к передней половине Ивана Никифоровича, сложил ему обе руки накрест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который уперся своим коленом в брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, вытиснут он был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей. Причем канцелярский и его помощник, инвалид, от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом.

— Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам настойки, которою потрите только поясницу и спину, и все пройдет.

Но Иван Никифорович повалился на стул и, кроме продолжительных *охов*, ничего не мог сказать. Наконец слабым, едва слышным от усталости голосом произнес он:

— Не угодно ли?— и, вынувши из кармана рожок, прибавил:— Возьмите, одолжайтесь!

— Весьма рад, что вас вижу,— отвечал судья.— Но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такою приятною нечаянностию.

— С просьбою...— мог только произнесть Иван Никифорович.

— С просьбою? с какою?

— С позвом...— тут одышка произвела долгую паузу,— ох!.. с позвом на мошенника... Ивана Иванова Перерепенка.

— Господи! и вы туда! Такие редкие друзья! Позов на такого добродетельного человека!..

— Он сам сатана!— произнес отрывисто Иван Никифорович.

Судья перекрестился.

— Возьмите просьбу, прочитайте.

— Нечего делать, прочитайте, Тарас Тихонович,— сказал судья, обращаясь к секретарю с видом неудовольствия, причем нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его.

Секретарь, сделавши обыкновенный свой приступ, который он всегда употреблял перед начатием чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом:

— «Просит дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун, а о чем, тому следуют пункты:

1) По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином, Иван,

Иванов сын, Перерепенко всякие пакости, убытки и иные ехидненские и в ужас приводящие поступки мне чинит и вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать, с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями, забрался ночью в мой двор и в находящийся в оном мой же собственный хлев, собственноручно и поносным образом его изрубил. На что, с моей стороны, я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку.

2) Оный же дворянин Перерепенко имеет посягательство на самую жизнь мою и до 7-го числа прошлого месяца, содержа втайне сие намерение, пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него, с свойственною ему скупостью, многие негодные вещи, как-то: свинью бурую и две мерки овса. Но, предугадывая тогда же преступное его намерение, я всячески старался от оного уклонить его; но оный мошенник и подлец, Иван, Иванов сын, Перерепенко, выбранил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую. Притом же оный, часто поминаемый, неистовый дворянин и разбойник, Иван, Иванов сын, Перерепенко, и происхождения весьма поносного: его сестра была известная всему свету потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею назад тому пять лет в Миргороде; а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и разбойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела: постов не содержит, ибо накануне филипповки сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке Гапке, оговариваясь, аки бы ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи.

Посему прошу оного дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличенного уже в воровстве и грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму, или государственный острог, препроводить, и там уже, по усмотрению, лиша чинов и дворянства, добре бар-



Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем

Рисунок П. Боклевского. [1882]

барами шмаровать и в Сибирь на каторгу по надобности заточить; проторы, убытки велеть ему заплатить и по сему моему прошению решение учинить.— К сему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился, с намерением уйти.

— Куда же вы, Иван Никифорович?— говорил ему вслед судья.— Посидите немного! выпейте чаю! Орышко! что ты стоишь, глупая девка, и перемигиваешься с канцелярскими? Ступай принеси чаю!

Но Иван Никифорович, с испугу, что так далеко зашел от дому и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь, проговорив:

— Не беспокойтесь, я с удовольствием...— и затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие.

Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес, как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще бо́льшую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудка и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур, яиц, краюх хлеба, пирогов, книшей и прочего дрязгу, в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутствовавших, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая хавронья убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы.

Это чрезвычайное происшествие произвело страшную суматоху, потому что даже копия не была еще списана с нее. Судья, то есть его секретарь и подсудок, долго трактовали об таком неслыханном обстоятельстве; наконец решено было на том, чтобы написать об этом отношение к городничему, так как следствие по этому делу более относилось к гражданской полиции. Отношение за № 389 послано было к нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объяснение, о котором читатели могут узнать из следующей главы.

ГЛАВА V,

В КОТОРОЙ ИЗЛАГАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ ДВУХ ПОЧЕТНЫХ В МИРГОРОДЕ ОСОБ

Как только Иван Иванович управился в своем хозяйстве и вышел, по обыкновению, полежать под навесом, как, к несказанному удивлению своему, увидел что-то красневшее в калитке. Это был красный обшлаг городничего, который, равномерно как и воротник его, получил политуру и по краям превращался в лакированную кожу. Иван Иванович подумал про себя: «Недурно, что пришел Петр Федорович поговорить»,— но очень удивился, увидя, что городничий шел чрезвычайно скоро и размахивал руками, что случалось с ним, по обыкновению, весьма редко. На мундире у городничего посажено было восемь пуговиц, девятая как оторвалась во время процессии при освящении храма назад тому два года, так до сих пор десятские не могут отыскать, хотя городничий при ежедневных рапортах, которые отдают ему квартальные надзиратели, всегда спрашивает, нашлась ли пуговица. Эти восемь пуговиц были насажены у него таким образом, как бабы садят бобы; одна направо, другая налево. Левая нога была у него прострелена в последней кампании, и потому он, прихрамывая, закидывал ею так далеко в сторону, что разрушал этим почти весь труд правой ноги. Чем быстрее действовал городничий своею пехотою, тем менее она подвигалась вперед. И потому, покамест дошел городничий к навесу, Иван Иванович имел довольно времени теряться в догадках, отчего городничий так скоро размахивал руками. Тем более это его занимало, что дело казалось необыкновенной важности, ибо при нем была даже новая шпага.

— Здравствуйте, Петр Федорович!— вскричал Иван Иванович, который, как уже сказано, был очень любопытен и никак не мог удержать своего нетерпения при виде, как городничий брал приступом крыльцо, но все еще не поднимал глаз своих вверх и ссорился с своей пехотою, которая никаким образом не могла с одного размаху взойти на ступеньку.

— Доброго дня желаю любезному другу и благодетелю Ивану Ивановичу! — отвечал городничий.

— Милости прошу садиться. Вы, как я вижу, устали, потому что ваша раненая нога мешает...

— Моя нога! — вскрикнул городничий, бросив на Ивана Ивановича один из тех взглядов, какие бросает великан на пигмея, ученый педант на танцевального учителя. При этом он вытянул свою ногу и топнул ею об пол. Эта храбрость, однако ж, ему дорого стоила, потому что весь корпус его покачнулся и нос клюнул перила; но мудрый блюститель порядка, чтоб не подать никакого вида, тотчас оправился и полез в карман, как будто бы с тем, чтобы достать табакерку. — Я вам доложу о себе, любезнейший друг и благодетель Иван Иванович, что я делывал на веку своем не такие походы. Да, серьезно, делывал. Например, во время кампании тысяча восемьсот седьмого года... Ах, я вам расскажу, каким манером я перелез через забор к одной хорошенькой немке. — При этом городничий зажмурил один глаз и сделал бесовски плутовскую улыбку.

— Где ж вы бывали сегодня? — спросил Иван Иванович, желая прервать городничего и скорее навести его на причину посещения; ему бы очень хотелось спросить, что такое намерен объявить городничий; но тонкое познание света представляло ему всю неприличность такого вопроса, и Иван Иванович должен был скрепиться и ожидать разгадки, между тем как сердце его колотилось с необыкновенною силою.

— А позвольте, я вам расскажу, где был я, — отвечал городничий. — Во-первых, доложу вам, что сегодня отличное время...

При последних словах Иван Иванович почти что не умер.

— Но позвольте, — продолжал городничий. — Я пришел сегодня к вам по одному весьма важному делу. — Тут лицо городничего и осанка приняли то же самое озабоченное положение, с которым брал он приступом крыльцо.

Иван Иванович ожил и трепетал как в лихорадке, не замедливши, по обыкновению своему, сделать вопрос:

— Какое же оно важное? разве оно важное?

— Вот извольте видеть: прежде всего осмелюсь доложить вам, любезный друг и благодетель Иван Иванович, что вы... с моей стороны, я, извольте видеть, я ничего, но виды правительства, виды правительства этого требуют: вы нарушили порядок благочиния!..

— Что это вы говорите, Петр Федорович? Я ничего не понимаю.

— Помилуйте, Иван Иванович! Как вы ничего не понимаете? Ваша собственная животина утащила очень важную казенную бумагу, и вы еще говорите после этого, что ничего не понимаете!

— Какая животина?

— С позволения сказать, ваша собственная бурая свинья.

— А я чем виноват? Зачем судейский сторож отворяет двери!

— Но, Иван Иванович, ваше собственное животное — стало быть, вы виноваты.

— Покорно благодарю вас за то, что с свиньею меня равняете.

— Вот уж этого я не говорил, Иван Иванович! Ей-богу, не говорил! Извольте рассудить по чистой совести сами: вам, без всякого сомнения, известно, что, согласно с видами начальства, запрещено в городе, тем же паче в главных градских улицах, прогуливаться нечистым животным. Согласитесь сами, что это дело запрещенное.

— Бог знает что это вы говорите! Большая важность, что свинья вышла на улицу!

— Позвольте вам доложить, позвольте, позвольте, Иван Иванович, это совершенно невозможно. Что ж делать? Начальство хочет — мы должны повиноваться. Не спорю, забегают иногда на улицу и даже на площадь куры и гуси,— заметьте себе: куры и гуси; но свиней и козлов я еще в прошлом году дал предписание не впускать на публичные площади. Которое предписание тогда же приказал прочитать изустно, в собрании, пред целым народом.

— Нет, Петр Федорович, я здесь ничего не вижу, как только то, что вы всячески стараетесь обижать меня.

— Вот этого-то не можете сказать, любезнейший друг и благодетель, чтобы я старался обижать. Вспомните сами: я не сказал вам ни одного слова прошлый год, когда вы выстроили крышу целым аршином выше установленной меры. Напротив, я показал вид, как будто совершенно этого не заметил. Верьте, любезнейший друг, что и теперь бы я совершенно, так сказать... но мой долг, словом, обязанность требует смотреть за чистотою. Посудите сами, когда вдруг на главной улице...

— Уж хороши ваши главные улицы! Туда всякая баба идет выбросить то, что ей не нужно.

— Позвольте вам доложить, Иван Иванович, что вы сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по большей части только под забором, сараями или коморами; но чтоб на главной улице, на площадь втесалась супоросная свинья, это такое дело...

— Что ж такое, Петр Федорович! Ведь свинья творение божие!

— Согласен! Это всему свету известно, что вы человек ученый, знаете науки и прочие разные предметы. Конечно, я наукам не обучался никаким: скорописному письму я начал учиться на тридцатом году своей жизни. Ведь я, как вам известно, из рядовых.

— Гм! — сказал Иван Иванович.

— Да,— продолжал городничий,— в тысяча восемьсот первом году я находился в сорок втором егерском полку в четвертой роте поручиком. Ротный командир у нас был, если изволите знать, капитан Еремеев.— При этом городничий запустил свои пальцы в табакерку, которую Иван Иванович держал открытою и переминал табак.

Иван Иванович отвечал:

— Гм!

— Но мой долг,— продолжал городничий,— есть повиноваться требованиям правительства. Знаете ли вы, Иван Иванович, что похитивший в суде казенную бумагу подвергается, наравне со всяким другим преступлением, уголовному суду?

— Так знаю, что, если хотите, и вас научу. Так говорится о людях, например если бы вы украли бумагу; но свинья животное, творение божие!

— Всё так, но закон говорит: «виновный в похищении...» Прошу вас прислушаться внимательно: *виновный!* Здесь не означается ни рода, ни пола, ни звания,— стало быть, и животное может быть виновно. Воля ваша, а животное прежде произнесения приговора к наказанию должно быть представлено в полицию как нарушитель порядка.

— Нет, Петр Федорович! — возразил хладнокровно Иван Иванович.— Этого-то не будет!

— Как вы хотите, только я должен следовать предписаниям начальства.

— Что ж вы стращаете меня? Верно, хотите прислать за нею безрукого солдата? Я прикажу дворовой бабе его кочергой выпроводить. Ему последнюю руку переломят.

— Я не смею с вами спорить. В таком случае, если вы не хотите представить ее в полицию, то пользуйтесь ею, как вам угодно: заколите, когда желаете, ее к рождеству и наделайте из нее окороков, или так съедите. Только я бы у вас попросил, если будете делать колбасы, пришлите мне парочку тех, которые у вас так искусно делает Гапка из свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна очень их любит.

— Колбас, извольте, пришлю парочку.

— Очень вам буду благодарен, любезный друг и благодетель. Теперь позвольте вам сказать еще одно слово: я имею поручение, как от судьи, так равно и от всех наших знакомых, так сказать, примирить вас с приятелем вашим, Иваном Никифоровичем.

— Как! с невежею? чтобы я примирился с этим грубияном? Никогда! Не будет этого, не будет!— Иван Иванович был в чрезвычайно решительном состоянии.

— Как вы себе хотите,— отвечал городничий, угощая обе ноздри табаком.— Я сам не смею советовать; однако ж позвольте доложить: вот вы теперь в ссоре, а как помиритесь...

Но Иван Иванович начал говорить о ловле перепелов, что обыкновенно случалось, когда он хотел замять речь.

Итак, городничий, не получив никакого успеха, должен был отправиться восвояси.

ГЛАВА VI,

ИЗ КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ ЛЕГКО МОЖЕТ УЗНАТЬ ВСЕ ТО, ЧТО В НЕЙ СОДЕРЖИТСЯ

Сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь Миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только: «Не бурая ли?»

Но Агафия Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифоровичу:

— Что ты, Иван Никифорович? Над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь! Какой ты после этого будешь дворянин! Ты будешь хуже бабы, что продает сластены, которые ты так любишь!

И уговорила неугомонная! Нашла где-то человечка средних лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, в темно-синем, с заплатами на локтях, сюртуке — совершенную приказную чернильницу! Сапоги он смазывал дегтем, носил по три пера за ухом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы; съедал за одним разом девять пирогов, а десятый клал в карман, и в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханьем. Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и, наконец, состряпало такую бумагу:

«В миргородский поветовый суд от дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна.

Вследствие оного прошения моего, что от меня, дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, к тому имело быть, совокупно с дворянином Иваном, Ивановым сыном, Перерепенком, чему и сам поветовый миргородский суд потворство свое изъявил. И самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи втайне содержимо и уже от сторонних людей до слуха дошедшись. Понеже оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит; ибо оная свинья есть животное глупое и тем паче спо-

собное к хищению бумаги. Из чего очевидно явствует, что часто поминаемая свинья не иначе как была подущена к тому самим противником, называющим себя дворянином Иваном, Ивановым сыном, Перерепенком, уже уличенном в разбое, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но оный миргородский суд, с свойственным ему лицеприятием, тайное своей особы соглашение изъявил; без какового соглашения оная свинья никоим бы образом не могла быть допущенною к утащению бумаги: ибо миргородский поветовый суд в прислуге весьма снабжен, для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время в приемной пребывающего, который хотя имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имеет весьма соразмерные способности. Из чего достоверно видно потворство оного миргородского суда и бесспорно разделение жидовского от того барыша по взаимности совмещаясь. Оный же вышеупомянутый разбойник и дворянин Иван, Иванов сын, Перерепенко в приточении ошельмовавшись состоялся. Почему и довожу оному поветовому суду я, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, в надлежащее всеведение, если с оной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепенка означенная просьба взыщена не будет и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, о таковом оного суда противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела.— Дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Эта просьба произвела свое действие: судья был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка. Он обратился к секретарю. Но секретарь пустил сквозь губы густой «гм» и показал на лице своем ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана, когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось: примирить двух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако ж еще решились попытаться; но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет,

и даже весьма рассердился. Иван Никифорович вместо ответа оборотился спиною назад и хоть бы слово сказал. Тогда процесс пошел с необыкновенною быстротою, которою обыкновенно так славятся судилища. Бумагу пометили, записали, выставили нумер, вшили, расписались — всё в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало — год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж; в Миргороде пробили новую улицу; у судьи выпал один коренной зуб и два боковых; у Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде: откуда они взялись, бог один знает! Иван Никифорович, в упрек Ивану Ивановичу, выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подальше прежнего, и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга,— и дело все лежало, в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен.

Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода.

Городничий давал ассамблею! Где возьму я кистей и красок, чтоб изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? Возьмите часы, откройте их и посмотрите, что там делается! Не правда ли, чепуха страшная? Представьте же теперь себе, что почти столько же, если не больше, колес стояло среди двора городничего. Каких бричек и повозок там не было! Одна — зад широкий, а перед узенький; другая — зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка и повозка вместе; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху; другая на растрепанного жида или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи; иная была в профиле совершенная трубка с чубуком; другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Из среды этого хаоса колес и козел возвышалось подобие кареты с комнатным окном, перекрещенным толстым переплетом. Кучера, в серых чекменях, свитках и серяках, в бараньих шапках и разно-

калиберных фуражках, с трубками в руках, проводили по двору распряженных лошадей. Что за ассамблею дал городничий! Позвольте, я перечту всех, которые были там: Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихиевич, Иван Иванович — не тот Иван Иванович, а другой, Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елевферий Елевфериевич, Макар Назарьевич, Фома Григорьевич... Не могу далее! не в силах! Рука устает писать! А сколько было дам! смуглых и белолицых, длинных и коротеньких, толстых, как Иван Никифорович, и таких тонких, что, казалось, каждую можно было упрятать в шпажные ножны городничего. Сколько чепцов! сколько платьев! красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных; платков, лент, ридикулей! Прощайте, бедные глаза! вы никуда не будете годиться после этого спектакля. А какой длинный стол был вытянут! А как разговорилось все, какой шум подняли! Куда против этого мельница со всеми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами! Не могу вам сказать наверно, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и полезных вещах, как-то: о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец Иван Иванович — не тот Иван Иванович, а другой, у которого один глаз крив, — сказал:

— Мне очень странно, что правый глаз мой (кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически) не видит Ивана Никифоровича господина Довгочхуна.

— Не хотел прийти! — сказал городничий.

— Как так?

— Вот уже, слава богу, есть два года, как поссорились они между собою, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем; и где один, туда другой ни за что не пойдет!

— Что вы говорите! — При этом кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. — Что ж теперь, если уже люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком!

На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал

шутки совершенно во вкусе нынешнем. Сам высокий, худощавый человек, в байковом сюртуке, с пластырем на носу, который до того сидел в углу и ни разу не переменил движения на своем лице, даже когда залетела к нему в нос муха,— этот самый господин встал с своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей кривого Ивана Ивановича.

— Послушайте! — сказал кривой Иван Иванович, когда увидел, что его окружило порядочное общество.— Послушайте! Вместо того что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим двух наших приятелей! Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами,— пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе.

Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом — просить его во что бы ни стало приехать к городничему на обед. Но важный вопрос — на кого возложить это важное поручение? — повергнул всех в недоумение. Долго спорили, кто способнее и искуснее в дипломатической части; наконец единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Голопузя.

Но прежде нужно несколько познакомить читателя с этим замечательным лицом. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова: даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шею или исподнее — он благодарит; щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Если у него спрашивали: «Отчего это у вас, Антон Прокофьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые?»— то он обыкновенно всегда отвечал: «А у вас и такого нет! Подождите, обносится, весь будет одинаковый!» И точно: голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневое и теперь совершенно подходит под цвет сюртука! Но вот что странно: что Антон Прокофьевич имеет обыкновение суконное платье носить летом, а нанковое зимою. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде, на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил

тройку гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой разъезжал гостить по помещикам. Но так как с ними много было хлопот и притом нужны были деньги на овес, то Антон Прокофьевич их променял на скрыпку и дворовую девку, взявши придачи двадцатипятирублевую бумажку. Потом скрыпку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет сафьянный с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. За это наслаждение он уже не может разъезжать по деревням, а должен оставаться в городе и ночевать в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Антон Прокофьевич любит хорошо поесть, играет изрядно в «дураки» и «мельники». Повиноваться всегда было его стихиею, и потому он, взявши шапку и палку, немедленно отправился в путь. Но, идучи, стал рассуждать, каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею. Несколько крутой нрав сего, впрочем, достойного человека делал его предприятие почти невозможным. Да и как в самом деле ему решиться прийти, когда встать с постели уже ему стоило великого труда? Но положим, что он встанет, как ему прийти туда, где находится,— что, без сомнения, он знает,— непримиримый враг его? Чем более Антон Прокофьевич обдумывал, тем более находил препятствий. День был душен; солнце жгло; пот лился с него градом. Антон Прокофьевич, несмотря, что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела,—в мéне только был он не так счастлив,— он очень знал, когда нужно прикинуться дураком, и иногда умел найтиться в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться.

В то время как изобретательный ум его выдумывал средство, как убедить Ивана Никифоровича, и уже он храбро шел навстречу всего, одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его. Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры. Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва только он предался

размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил слух его. Антон Прокофьевич поднял такой крик,— громче его никто не умел кричать,— что не только знакомая баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались к нему, и хотя собаки только за одну ногу успели его укусить, однако ж это очень уменьшило его бодрость и он с некоторого рода робостью подступал к крыльцу.

ГЛАВА VII,

И ПОСЛЕДНЯЯ

— А! здравствуйте. На что вы собак дразните?— сказал Иван Никифорович, увидевши Антона Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не говорил, как шутя.

— Чтоб они передохли все! Кто их дразнит?— отвечал Антон Прокофьевич.

— Вы врете.

— Ей-богу, нет! Просил вас Петр Федорович на обед.

— Гм!

— Ей-богу! так убедительно просил, что выразить не можно. Что это, говорит, Иван Никифорович чуждается меня, как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить либо посидеть.

Иван Никифорович погладил свой подбородок.

— Если, говорит, Иван Никифорович и теперь не придет, то я не знаю, что подумать: верно, он имеет на меня какой умысел! Сделайте милость, Антон Прокофьевич, уговорите Ивана Никифоровича! Что ж, Иван Никифорович? пойдем! там собралась теперь отличная компания!

Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, изо всей мочи драл горло.

— Если бы вы знали, Иван Никифорович,— продолжал усердный депутат,— какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу!

При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться.

Это ободрило депутата.

— Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич! Что ж вы? — прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении.— Что ж? идем или нейдем?

— Не хочу.

Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича. Он уже думал, что убедительное представление его совершенно склонило этого, впрочем, достойного человека, но вместо того услышал решительное «не хочу».

— Отчего же не хотите вы? — спросил он почти с досадою, которая показывалась у него чрезвычайно редко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий.

Иван Никифорович понюхал табаку.

— Воля ваша, Иван Никифорович, я не знаю, что вас удерживает.

— Чего я пойду? — проговорил наконец Иван Никифорович,— там будет разбойник! — Так он называл обыкновенно Ивана Ивановича.

Боже праведный! А давно ли...

— Ей-богу, не будет! вот как бог свят, что не будет! Чтоб меня на самом этом месте громом убило! — отвечал Антон Прокофьевич, который готов был божиться десять раз на один час.— Пойдемте же, Иван Никифорович!

— Да вы врете, Антон Прокофьевич, он там?

— Ей-богу, ей-богу нет! Чтобы я не сошел с этого места, если он там! Да и сами посудите, с какой стати мне лгать? Чтоб мне руки и ноги отсохли!.. Что, и теперь не верите? Чтоб я околел тут же перед вами! чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать царствия небесного! Еще не верите?

Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принесть шаровары и нанковый казакин.

Я полагаю, что описывать, каким образом Иван Никифорович надевал шаровары, как ему намотали

галстук и, наконец, надели казакин, который под левым рукавом лоппул, совершенно излишне. Довольно, что он во все это время сохранял приличное спокойствие и не отвечал ни слова на предложения Антона Прокофьевича — что-нибудь променять на его турецкий кисет.

Между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится наконец всеобщее желание, чтобы сии достойные люди примирились между собою; многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Городничий даже бился об заклад с кривым Иваном Ивановичем, что не придет, но разошелся только потому, что кривой Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил в заклад подстреленную свою ногу, а он кривое око, — чем городничий очень обиделся, а компанія потихоньку смеялась. Никто еще не садился за стол, хотя давно уже был второй час — время, в которое в Миргороде, даже в парадных случаях, давно уже обедают.

Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом: «Не будет». Едва только он это произнес, и уже град выговоров, браней, а может быть и щелчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, как вдруг дверь отворилась и — вошел Иван Никифорович.

Если бы показался сам сатана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокофьевич только заливался, ухватившись за бока, от радости, что так подшутил над всею компаниею.

Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было; он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Ники-

форович целовался со всяким и говорил: «Очень одолжен».

Между тем запах борща понесся чрез комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Вереница дам, говорливых и молчаливых, тощих и толстых, потянулась вперед, и длинный стол зарябел всеми цветами. Не стану описывать кушаньев, какие были за столом! Ничего не упомяну ни о мнишках в сметане, ни об утрибке, которую подавали к борщу, ни об индейке с сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединая песнь старинного повара,— о том соусе, который подавался обхваченный весь винным пламенем, что очень забавляло и вместе пугало дам. Не стану говорить об этих кушаньях потому, что мне гораздо более нравится есть их, нежели распространяться об них в разговорах.

Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул насупротив: творец небесный, как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович!

В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович!.. Нет!.. не могу!.. Дайте мне другое перо! Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом для этой картины! Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Каждый из них увидел лицо давно знакомое, к которому, казалось бы, невольно готов подойти, как к приятелю неожиданному, и поднесть рожок с словом: «одолжайтесь», или: «смею ли просить об одолжении»; но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование! Пот катился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующие, все, сколько их ни было за столом, онемели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей. Дамы, которые до того времени были заняты довольно интересным разговором о том, каким



Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем

Рисунок А. Бубнова. 1952

образом делаются каплуны, вдруг прервали разговор. Все стихло! Это была картина, достойная кисти великого художника!

Наконец Иван Иванович вынул носовой платок и начал сморкаться; а Иван Никифорович осмотрелся вокруг и остановил глаза на растворенной двери. Городничий тотчас заметил это движенье и велел затворить дверь покрепче. Тогда каждый из друзей начал кушать и уже ни разу не взглянули друг на друга.

Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда городничий мигнул, и Иван Иванович,— не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом,— стал за спиною Ивана Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. Иван Иванович, что с кривым глазом, натолкнул Ивана Никифоровича, хотя и несколько косо, однако ж довольно еще удачно и в то место, где стоял Иван Иванович; но городничий сделал дирекцию слишком в сторону, потому что он никак не мог управиться с своевольною пехотою, не слушавшею на тот раз никакой команды и, как назло, закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно в противную сторону (что, может, происходило оттого, что за столом было чрезвычайно много разных наливок), так что Иван Иванович упал на даму в красном платье, которая из любопытства просунулась в самую средину. Такое предзнаменование не предвещало ничего доброго. Однако ж судья, чтоб поправить это дело, занял место городничего и, потянувши носом с верхней губы весь табак, отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону. В Миргороде это обыкновенный способ примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся всею силою и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то что оба приятеля весьма упирались, однако ж таки были столкнуты, потому что обе действовавшие стороны

получили значительное подкрепление со стороны других гостей.

Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки.

— Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович! Скажите по совести, за что вы поссорились? не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед богом!

— Я не знаю,— сказал Иван Никифорович, пыхтя от усталости (заметно было, что он был весьма не прочь от примирения),— я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу; за что же он порубил мой хлев и замышлял погубить меня?

— Не повинен ни в каком злом умысле,— говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича.— Клянусь и пред богом и пред вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит и наносит вред моему чину и званию?

— Какой же я вам, Иван Иванович, нанес вред?— сказал Иван Никифорович.

Еще одна минута объяснения — и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать: «Одолжайтесь».

— Разве это не вред,— отвечал Иван Иванович, не подымая глаз,— когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать?

— Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович! (при этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение),— вы обиделись за черт знает что такое: за то, что я вас назвал *гусаком*...

Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово; но уже было поздно: слово было произнесено.

Все пошло к черту!

Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в каком не дай бог видывать человека,— что ж теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это

убийственное слово произнесено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным? Поступи Иван Никифорович не таким образом, скажи он *птица*, а не *гусак*, еще бы можно было поправить.

Но — все кончено!

Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд — и какой взгляд! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. И этот человек, образец кротости, который ни одну нищую не пропускал, чтоб не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти!

Целый месяц ничего не было слышно об Иване Ивановиче. Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт, из сундука были вынуты — что же? карбованцы! старые, дедовские карбованцы! И эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы! с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжение десяти лет!

Назад тому лет пять я проезжал чрез город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень с своею грустно-сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень — творение скучных, беспрерывных дождей — покрывала жидкою сетью поля и нивы, к которым она так пристала, как шалости старику, розы — старухе. На меня тогда сильное влияние производила погода: я скучал, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! я двенадцать лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитых людей!

Судья Демьян Демьянович уже тогда был покойником; Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже приказал долго жить. Я въехал в главную улицу; везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы: производилась какая-то новая планировка! Несколько изб было снесено. Остатки заборов и плетней торчали уныло.

День был тогда праздничный; я приказал рогоженную кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было. Церковь была пуста. Народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать — больном дне, как-то были странно неприятны; темные притворы были печальны; продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и оборотился к одному почтенному старику с поседевшими волосами:

— Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?

В это время лампада вспыхнула живее пред иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые! Это был сам Иван Никифорович! Но как изменился!

— Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели!

— Да, постарел. Я сегодня из Полтавы,— отвечал Иван Никифорович.

— Что вы говорите! вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду?

— Что ж делать! тяжба...

При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал:

— Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе, и в мою пользу.

Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче.

— Иван Иванович здесь,— сказал мне кто-то,— он на крылосе.

Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые; но бекеша была все та же. После

первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселою улыбкою, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал:

— Уведомить ли вас о приятной новости?

— О какой новости? — спросил я.

— Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала наверное.

Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу, и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил ливмя на жида, сидевшего на козлах и накрывшегося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. — Скучно на этом свете, господа!

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАРАС БУЛЬБА

Редакция «Миргорода» 1835 г.

I

— А поворотись, сынку! цур тебе, какой ты смешной! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии?

Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших уже на дом к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлоба, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень оконфужены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

— Постойте, постойте, дети,— продолжал он, поворачивая их,— какие же длинные на вас свитки! [1] Вот это свитки! Ну, ну, ну! таких свиток еще никогда на свете не было! А ну, побегите оба: я посмотрю, не попадаете ли вы?

— Не смейся, не смейся, батьку! — сказал наконец старший из них.

---

[1] Свиткой называется верхняя одежда у малороссиян. (*Прим. Н. В. Гоголя.*)

— Фу ты, какой пышный! а отчего ж бы не смеяться?

— Да так. Хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу!

— Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька? — сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько назад.

— Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого.

— Как же ты хочешь со мною биться? разве на кулаки?

— Да уж на чем бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки! — говорил Бульба, засучив рукава.

И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали преусердно колотить друг друга.

— Вот это сдурел, старый! — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих.— Ей-богу, сдурел! Дети приехали домой, больше году не видели их, а он задумал бог знает что: биться на кулачки.

— Да он славно бьется! — говорил Бульба, остановившись.— Ей-богу, хорошо!.. так-таки,— продолжал он, немного оправляясь,— хоть бы и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здоров, сынку! почеломкаемся! — И отец с сыном начали целоваться. — Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил? — говорил он, обращаясь к младшему.— Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?

— Вот еще выдумал что! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего.— И придет же в голову! Как можно, чтобы дитя било родного отца? Притом будто до того теперь: дитя малое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом), ему бы теперь нужно отпочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет биться!

— Э, да ты мазунчик, как я вижу! — говорил Бульба.— Не слушай, сынку, матери: она — баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба —

чистое поле да добрый конь; вот ваша нежба. А видите вот эту саблю — вот ваша матерь! Это все дрянь, чем набивают вас: и академия, и все те книжки, буквари и философия,— все это *ка зна що*, я плевать на все это!— Бульба присовокупил еще одно слово, которого, однако же, цензора не пропускают в печать, и хорошо делают.— Я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот там ваша школа! Вот там только наберетесь разуму!

— И только всего одну неделю быть им дома? — говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха мать.— И погулять им, бедным, не удастся, и дому родного некогда будет узнать им, и мне не удастся наглядеться на них!

— Полно, полно, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ступай скорее да неси нам все, что ни есть, на стол. Пампушек, маковиков, медовиков и других пундиков не нужно, а прямо так и тащи нам целого барана на стол. Да горелки, чтобы горелки было побольше! Не этой разной, что с выдумками: с изюмом, родзинками и другими вытребеньками, а чистой горелки, настоящей, такой, чтобы шипела, как бес!

Бульба повел сыновей своих в светлицу, из которой пугливо выбежали две здоровые девки в красных монистах, увидевши приехавших паничей, которые не любили спускать никому.

Все в светлице было убрано во вкусе того времени; а время это касалось XVI века, когда еще только что начинала рождаться мысль об унии. Все было чисто, вымазано глиною. Вся стена была убрана саблями и ружьями. Окна в светлице были маленькие, с круглыми матовыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах. На полках, занимавших углы комнаты и сделанных угольниками, стояли глиняные кувшины, синие и зеленые фляжки, серебряные кубки, позолоченные чарки венецианской, турецкой и черкесской работы, зашедшие в светлицу Бульбы разными путями, чрез третьи и четвертые руки, что было очень обыкновенно в эти удалые времена. Липовые скамьи вокруг всей комнаты и огромный стол посреди ее, печь, разъехавшаяся на полкомнаты, как толстая русская

купчиха, с какими-то нарисованными петухами на изразцах,— все эти предметы были довольно знакомы нашим двум молодцам, приходившим почти каждый год домой на каникулярное время,— приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не было в обычае позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

— Ну, сынки, прежде всего выпьем горелки! Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же, боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоты-то не слишком разумею, то и не помню; Гораций, кажется?

«Вишь, какой батька! — подумал про себя старший сын, Остап,— все, собака, знает, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит,— продолжал Бульба,— не давал вам и понюхать горелки. А что, сынки, признайтесь, порядочно вас стегали березовыми да вишневыми по спине и по всему? а может, так как вы уже слишком разумные, то и плетюгами? Я думаю, кроме субботки, драли вас и по середам, и по четвергам?

— Нечего, батько, вспоминать,— говорил Остап с обыкновенным своим флегматическим видом,— что было, то уже прошло.

— Теперь мы можем расписать всякого,— говорил Андрий,— саблями да списами. Вот пусть только попадется татарва.

— Добре, сынку! ей-богу, добре! Да когда так, то и я с вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне здесь ожидать? Что, я должен разве смотреть за хлебом да за свинарями? Или бабиться с женою? Чтоб она пропала! Чтоб я для ней оставался дома? Я козак. Я не хочу!

Так что же что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-богу, еду! — И старый Бульба мало-помалу горячился и наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою.— Завтра же едем! Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? к чему нам все это? на что эти горшки? — При этом Бульба начал колотить и швырять горшки и фляжки.

Бедная старушка жена, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но, услышавши о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала такая скорая разлука,— и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах.

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый XV век, и притом на полукочующем Востоке Европы, во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владением, к каким принадлежала тогда Украйна. Вечная необходимость пограничной защиты против трех разнохарактерных наций — все это придавало какой-то вольный, широкий размер подвигам сынов ее и воспитало упрямство духа. Это упрямство духа отпечаталось во всей силе на Тарасе Бульбе. Когда Баторий устроил полки в Малороссии и облек ее в ту воинственную арматуру, которою сперва означены были одни обитатели порогов, он был из числа первых полковников. Но при первом случае перессорился со всеми другими за то, что добыча, приобретенная от татар соединенными польскими и козацкими войсками, была разделена между ими не поровну и польские войска получили более преимущества. Он, в собрании всех, сложил с себя достоинство и сказал: «Когда вы, господа полковники, сами не знаете прав своих, то пусть же вас черт водит за нос. А я наберу себе собственный полк, и кто у меня вырвет мое, тому я буду знать, как утереть губы».

Действительно, он в непродолжительное время из своего же отцовского имения составил довольно значительный отряд, который состоял вместе из хлебопашцев и воинов и совершенно покорствовался его желанию. Вообще он был большой охотник до набегов и бунтов; он носом слышал, где и в каком месте вспыхивало возмущение, и уже как снег на голову являлся на коне своем. «Ну, дети! что и как? кого и за что нужно бить?» — обыкновенно говорил он и вмешивался в дело. Однако ж прежде всего он строго разбирал обстоятельства и в таком только случае приставал, когда видел, что поднявшие оружие действительно имели право поднять его, хотя это право было, по его мнению, только в следующих случаях: если соседняя нация угоняла скот или отрезывала часть земли, или комиссары налагали большую повинность, или не уважали старшин и говорили перед ними в шапках, или посмевались над православною верою,— в этих случаях непременно нужно было браться за саблю; против бусурманов же, татар и турок, он почитал во всякое время справедливым поднять оружие во славу божию, христианства и козачества. Тогдашнее положение Малороссии, еще не сведенное ни в какую систему, даже не приведенное в известность, способствовало существованию многих совершенно отдельных партизанов. Жизнь вел он самую простую, и его нельзя бы было вовсе отличить от рядового козака, если бы лицо его не сохраняло какой-то повелительности и даже величия, особливо когда он решался защищать что-нибудь.

Бульба заранее утешал себя мыслию о том, как он явится теперь с двумя сыновьями и скажет: «Вот посмотрите, каких я к вам молодцов привел!» Он думал о том, как повезет их на Запорожье — эту военную школу тогдашней Украйны, представит своим сотоварищам и поглядит, как при его глазах они будут подвизаться в ратной науке и бражничестве, которое он почитал тоже одним из первых достоинств рыцаря. Он вначале хотел отправить их одних, потому что считал необходимостию заняться новою сформировкою полка, требовавшей его присутствия. Но при виде своих сыновей, рослых и здоровых, в нем вдруг вспыхнул весь

воинский дух его, и он решился сам с ними ехать на другой же день, хотя необходимость этого была одна только упрямая воля.

Не теряя ни минуты, он уже начал отдавать приказания своему асаулу, которого называл Товкачом, потому что тот действительно похож был на какую-то хладнокровную машину: во время битвы он равнодушно шел по неприятельским рядам, размахивая своею саблей, как будто бы месил тесто, как кулачный боец, прочищающий себе дорогу. Приказания состояли в том, чтобы оставаться ему в хуторе, покамест он даст знать ему выступить в поход. После этого пошел он сам по куреням своим, раздавая приказания некоторым ехать с собою, напоить лошадей, накормить их пшеницею и подать себе коня, которого он обыкновенно называл Чертом.

— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей.

Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственною грудью; она возрастила, взлелеяла их,— и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас? Хоть бы недельку мне поглядеть на вас!» — говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо.

В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью,

только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два, три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуха. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки; она была какое-то странное существо в этом соборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине,— все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица и за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд. Может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих и не думала о сне. Уже кони, зачуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка. Красные полосы ясно сверкнули на небе.

Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора! пора! Напойте коней! А где стара́? (Так он обыкновенно называл жену свою.) Живее, стара, готовь нам есть, потому что путь великий лежит!

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились вместо прежних запачканных сапогов сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам их. Их лица, еще мало загоревшие, казалось похорошели и побелели: молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать! она как увидела их, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

— Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! — произнес наконец Бульба.— Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба.— Моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую[1], чтобы стояли всегда за веру Христову; а не то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде и на земле спасает.

---

[1] Рыцарскую. (*Прим. Н. В. Гоголя.*)

Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит вас... божья матерь... не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть весточку о себе...— Далее она не могла продолжать.

— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба.

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжел и толст.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшему, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и, с отчаяньем во всех чертах, не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она, со всею легкостию дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из них с какою-то помешанною, бесчувственною горячностию; ее опять увели.

Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же, с своей стороны тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад: хутор их как будто ушел в землю, только стояли на земле две трубы от их скромного домика; одни только вершины дерев,— дерев, по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний луг еще стлался перед ними,— тот луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда качались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку, боязливо летевшую чрез него с помощию своих свежих, быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем, с привязанным вверху колесом от телеги, одиноко торчит на небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла. — Прощайте и детство, и игры, и всё, и всё!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда почти плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сече из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Теперь кстати сказать что-нибудь о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все, поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни. Эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Ни к чему не могли привязать они своих познаний, хотя бы даже менее схоластических,

Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей — все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, пробуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше,— все это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул, долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки. Эта бурса составляла совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы, по их приказанию, пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим, наконец, сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они бежали на Запорожье, если умели найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то что начал с большим старанием учить логику и даже богословию, но никак не избавлялся неумолимых розг. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад или огород, но зато

он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более развиты. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был более изобретатель, нежели его брат; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его, Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси; нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее свежих, девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в ули-

цу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне и домы были выстроены с некоторою прихотливостию. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница, с престрашными усами, хлыснул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастию успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна брюнетку, прекрасную, как не знаю что, черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая кучею, в богатом убранстве, стояла за воротами, окруживши игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостию, он пролез чрез частокол в сад, взлез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшими в самую крышу дома; с дерева перелез на крышу и чрез трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнесть ни одного слова; но когда увидела, что бурсак стоял потупив глаза и не смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души

смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которою отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи.

Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывесть его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его.

После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он увидел ее еще раз в костеле: она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому; он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо прекрасной, обольстительной брюнетки выглядывало из окон какое-то толстое лицо.

Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего.

А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями.

— Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости,— как будто какие-нибудь чернецы! Ну, разом, разом! Все думки к нечистому! Берите в зубы

люльки да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!

И козаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только быстрая молния сжимаемой травы показывала бег их.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у козаков, вмиг слетело, сердца их встрепенулись, как птицы.

Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше их. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда, колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли целою тучею ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог знает в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи, как вы хороши!

Наши путешественники несколько минут только останавливались для обеда, причем ехавший с ними отряд, из десяти козаков, слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом

или коржи, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера.

Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по ним и они становились темно-зелеными; испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался к щекам. Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою. Пестрые овражки выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег; раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, краканье,— все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина! И не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающею в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь.

Чрез три дня после этого они были уже недалеко от места, служившего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело; они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и наконец обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по воле, где брошенные в средину его острова вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались по самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сеча, так часто переменявшая свое жилище.

Куча народа бранилась на берегу с перевозчиками. Козаки оправили коней; Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят куз-

нецких молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, точил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой средине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него.

— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивши коня.

В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем, для показания полного к ним презрения.

Полюбовавшись, Бульба пробирался далее сквозь тесную улицу, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявших это предместие Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило Сечу, умевшую только гулять да палить из ружей.

Наконец они минули предместие и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные установлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков, с навесами, на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» — отвечали запорожцы. На пространстве пяти верст были разбросаны толпы народа. Они все собирались в небольшие кучи. Так вот Сеча! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки; он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в средине которых отплясывал молодой запорожец, заломивши чертом свою шапку и вскинувши руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христианам!» И Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четыре старых выработывали довольно мелко своими ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслися вприсядку и били круто и крепко своими серебряными подковами тесно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе только отдавалось: тра-та-та, тра-та-та. Толпа, чем далее, росла; к танцующим приставали другие, и вся почти площадь покрылась приседающими запорожцами. Это имело в себе что-то разительно-увлекательное. Нельзя было без движения всей души видеть, как вся толпа отдирала танец, самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо мир, и который, по своим мощным изобретателям, носит название козачка. Только в одной музыке есть воля человеку. Он в оковах везде. Он сам себе кует еще тягостнейшие оковы, нежели налагает на него общество и власть везде, где только коснулся жизни. Он — раб, но он волен только потерявшись в бешеном танце, где душа его не боится тела и возносится вольными прыжками, готовая завеселиться на вечность.

Тарас Бульба крякнул от нетерпения и досадуя, что конь, на котором сидел он, мешал ему пуститься самому. Иные были чрезвычайно смешны своею важностью, с какою они работали ногами. Чресчур дряхлые, прислонившись к столбу, к которому обыкновенно на Сече привязывали преступника, топали и переминали ногами. Крики и песни, какие только могли прийти в голову человеку в разгульном веселье, раздавались свободно.

Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!»—«Откуда бог несет тебя, Тарас?»—«Ты как сюда зашел, Долото?»—«Здравствуй, Застежка! Думал ли я видеть тебя, Ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? что Бородавка? что Колопер? что Пидсыток?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсыткова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград.

Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были козаки!»

III

Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сече. Остап и Андрий мало могли заниматься военною школою, несмотря на то что отец их особенно просил опытных и искусных наездников быть им руководителями. Вообще можно сказать, что на Запорожье не было никакого теоретического изучения или каких-нибудь общих правил; все юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битвы, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки же между ними козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины. Очень редкие имели примерные турниры. Они все время отдавали гульбе — признаку широкого размета душевной воли. Вся Сеча представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но бóльшая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Это не было какое-нибудь сборище бражников, напивавшихся с горя; это было просто

какое-то бешеное разгулье веселости. Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на все прошедшее и с жаром фанатика предавался воле и товариществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы, балагуры, которые можно было слышать среди собравшейся толпы, лежавшей на земле, так были смешны и дышали таким глубоким юмором, что нужно было иметь только флегматическую наружность запорожца, чтобы не смеяться ото всей души. Это не был какой-нибудь пьяный кабак, где бессмысленно, мрачно, искаженными чертами веселия забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Вся разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, на котором производилась игра в мячик, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов своих; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному обычаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь уронить. Здесь были все бурсаки, которые не вынесли академических лоз и которые не вынесли из школы ни одной буквы; но вместе с этими здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика. Тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному

человеку быть без битвы. Здесь было много офицеров из польских войск; впрочем, из какой нации здесь не было народа? Эта странная республика была именно потребность того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь себе работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показаться ни одна женщина.

Остапу и Андрию показалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечу гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил их, откуда они, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращались в свой собственный дом, из которого только за час перед тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил:

— Здравствуй! что, во Христа веруешь?

— Верую! — отвечал приходивший.

— И в троицу святую веруешь?

— Верую!

— И в церковь ходишь?

— Хожу.

— А ну перекрестись!

Пришедший крестился.

— Ну, хорошо,— отвечал кошевой,— ступай же в который сам знаешь курень.

Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сеча молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что, как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Такова была та Сеча, имевшая столько приманок для молодых людей.

Остап и Андрий кинулись со всею пылкостию юно-

шей в это разгульное море. Они скоро позабыли и юность, и бурсу, и дом отцовский, и все, что тайно волнует еще свежую душу. Они гуляли, братались с беззаботными бездомовниками и, казалось, не желали никакого изменения такой жизни.

Между тем Тарас Бульба начинал думать о том, как бы скорее затеять какое-нибудь дело: он не мог долго оставаться в недеятельности.

— Что, кошевой,— сказал он один раз, пришедши к атаману,— может быть, пора бы погулять запорожцам?

— Негде погулять,— отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув в сторону.

— Как негде? Можно пойти в Турещину или на Татарву.

— Не можно ни в Турещину, ни в Татарву,—отвечал кошевой, взявши опять в рот трубку.

— Как не можно?

— Так. Мы обещали султану мир.

— Да он ведь бусурмен: и бог и священное писание велит бить бусурменов.

— Не имеем права. Если б мы не клялись нашею верою, то, может быть, как-нибудь еще и можно было.

— Как же это, кошевой? Как же ты говоришь, что права не имеем? Вот у меня два сына, молодые люди,— им нужно приучиться и узнать, что такое война, а ты говоришь, что запорожцам не нужно на войну идти.

— Что ж делать? — отвечал кошевой с таким же хладнокровием,— нужно подождать.

Но этим Бульба не был доволен. Он собрал кое-каких старшин и куренных атаманов и задал им пирушку на всю ночь. Загулявшись до последнего разгула, они вместе отправились на площадь, где обыкновенно собиралась рада и стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полену и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек, с одним только глазом, несмотря на то, страшно заспанным.

— Кто смеет бить в литавры? — закричал он.

— Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят!— отвечали подгулявшие старшины.

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули,— и скоро на площадь, как шмели, начали собираться черные кучи запорожцев.

За кошевым отправились несколько человек и привели его на площадь.

— Не бойся ничего! — сказали вышедшие к нему навстречу старшины.— Говори миру речь, когда хочешь, чтобы не было худого, говори речь об том, чтобы идти запорожцам на войну против бусурманов.

Кошевой, увидевши, что дело не на шутку, вышел на середину площади, раскланялся на все четыре стороны и произнес:

— Панове запорожцы, добрые молодцы! позволит ли господарство ваше речь держать?

— Говори, говори! — зашумели запорожцы.

— Вот, в рассуждении того теперь идет речь, панове добродийство,— да вы, может быть, и сами лучше это знаете,— что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет. Притом же, в рассуждении того, есть очень много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни раза не бил бусурмана?

— Вишь, он хорошо говорит,— сказал писарь, толкнув локтем Бульбу. Бульба кивнул головою.

— Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир. Сохрани бог, я только так это говорю. Притом же у нас храм божий — грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости божией стоит Сеча, а до сих пор не то уже чтобы наружность церкви, но даже внутренние образа без всякого убранства. Николай, угодник божий, сердега, в таком платье, в каком нарисовал его маляр, и до сих пор даже и серебряной рясы нет на нем. Варвара-великомученица только то и получила, что уже в духовной отказали иные козаки. Да и даяние их было бедное, потому что они почти всё еще пропили при

жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами. Ибо мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему.

— Вишь, проклятый! что это он путает такое? — сказал Бульба писарю.

— Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Честь лыцарская не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых. Пусть немного пошарпают берега Анатолии. Как думаете, панове?

— Веди, веди всех! — закричала со всех сторон толпа.— За веру мы готовы положить головы!

Кошевой испугался. Он нимало не желал тревожить всего Запорожья. Притом ему казалось неправым делом разорвать мир.

— Позвольте, панове, речь держать!

— Довольно! — кричали запорожцы,— лучшего не скажешь.

— Когда так, то пусть по-вашему, только для нас будет еще большее раздолье. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы, вот видите, будем наготове, и силы у нас будут свежие. Притом же и татарва может напасть во время нашей отлучки. Да если сказать правду, то у нас и челнов нет в запасе, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад, я слуга вашей воли.

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться, и решили на том, чтобы отправить несколько молодых людей под руководством опытных и старых.

Таким образом, все были уверены, что они совершенно по справедливости предпринимают свое предприятие. Такое понятие о праве весьма было извинительно народу, занимавшему опасные границы среди буйных соседей. И странно, если бы они поступили иначе. Татары раз десять перерывали свое шаткое перемирие и служили обольстительным примером. Притом, как можно было таким гульливым рыцарям и в такой гульливый век пробыть несколько недель без войны?

Молодежь бросилась к челнам осматривать их и снаряжать в дорогу. Несколько плотников явились вмиг с топорами в руках. Старые, загорелые, широкочленистые запорожцы с проседью в усах, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали их с берега крепким канатом. Несколько человек было отправлено в скарбницу на противуположный утеспстый берег Днепра, где в неприступном тайнике они скрывали часть приобретенных орудий и добычу. Бывалые поучали других с каким-то наслаждением, сохраняя при всем том степенный, суровый вид. Весь берег получил движущийся вид, и хлопотливость овладела дотоле беспечным народом.

В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем куча людей еще издали махала руками. Куча состояла из козаков в оборванных свитках. Беспорядочный костюм (у них ничего не было, кроме рубашки и трубки) показывал, что они были слишком угнетены бедою или уже чересчур гуляли и прогуляли все, что ни было на теле. Между ними отделился и стал впереди приземистый, плечистый, лет пятидесяти человек. Он кричал сильнее других и махал рукою сильнее всех.

— Бог в помощь вам, панове запорожцы!

— Здравствуйте! — отвечали работавшие в лодках, приостановив свое занятие.

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать!

— Говори!

И толпа усеяла и обступила весь берег.

— Слышали ли вы, что делается на гетманщине?

— А что? — произнес один из куренных атаманов.

— Такие дела делаются, что и рассказывать нечего.

— Какие же дела?

— Что и говорить! И родились и крестились, еще не видали такого,— отвечал приземистый козак, поглядывая с гордостью владеющего важной тайной.

— Ну, ну, рассказывай, что такое! — кричала в один голос толпа.

— А разве вы, панове, до сих пор не слыхали?

— Нет, не слыхали.

— Как же это? Что ж, вы разве за горами живете, или татарин заткнул клейтухом уши ваши?

— Рассказывай! полно толковать! — сказали несколько старшин, стоявших впереди.

— Так вы не слышали ничего про то, что жиды уже взяли церкви святые, как шинки, на аренды?

— Нет.

— Так вы не слышали и про то, что уже христианину и пасхи не можно есть, покамест рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою?

— Ничего не слышали! — кричала толпа, подвигаясь ближе.

— И что ксендзы ездят из села в село в таратайках, в которых запряжены — пусть бы еще кони, это бы еще ничего, а то просто православные христиане. Так вы, может быть, и того не знаете, что нечистое католичество хочет, чтоб мы кинули и веру нашу христианскую? Вы, может быть, не слышали и об том, что уже из поповских риз жидовки шьют себе юбки?

— Стой, стой! — прервал кошевой, дотоле стоявший углубивши глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли в себе всю железную силу негодования. — Стой! и я скажу слово! А что ж вы, враг бы поколотил вашего батька, что ж вы? разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию?

— Э, как попустили такому беззаконию! — отвечал приземистый козак,— а попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов, да еще к тому и часть гетманцев приняла их веру.

— А гетман ваш, а полковники что делали?

— Э, гетман и полковники! А знаете, где теперь гетман и полковники?

— Где?

— Полковников головы и руки развозят по ярмаркам, а гетман, зажаренный в медном быке, и до сих пор лежит еще в Варшаве.

Содрогание пробежало по всей толпе; молчание, какое обыкновенно предшествует буре, остановилось на устах всех, и, миг после того, чувства, подавляемые

дотоле в душе силою дюжего характера, брызнули целым потоком речей.

— Как, чтобы нашу Христову веру гнала проклятая жидова? чтобы эдакое делать с православными христианами, чтобы так замучить наших, да еще кого? полковников и самого гетмана! Да чтобы мы стерпели всё это? Нет, этого не будет!

Такие слова перелетали во всех концах обширной толпы народа. Зашумели запорожцы и разом почувствовали свои силы. Это не было похоже на волнение народа легкомысленного. Тут волновались всё характеры тяжелые и крепкие. Они раскалялись медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не остыть.

— Как, чтобы жидовство над нами пановало?! А ну, паны-браты, перевешаем всю жидову! Чтобы и духу ее не было! — произнес кто-то из толпы.

Эти слова пролетели молнией, и толпа ринулась на предместье, с сильным желанием перерезать всех жидов.

Бедные сыны Израиля, растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок. Но неумолимые, беспощадные мстители везде их находили.

— Ясновельможные паны! — кричал один высокий и тощий жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом.— Ясновельможные паны! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!

— Ну, пусть скажут! — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого.

— Ясные паны! — произнес жид.— Таких панов еще никогда не видывано, — ей-богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете...— Голос его умирал и дрожал от страха.— Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее. Те совсем не наши, что арендаторствуют на Украйне! ей-богу, не наши! то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить. Вот и они скажут то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?

— Ей-богу, правда! — отвечали из толпы Шлема и Шмуль, в изодранных яломках, оба белые, как глина.

— Мы никогда еще,— продолжал высокий жид,— не соглашались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим: пусть им черт приснится! Мы с запорожцами — как братья родные...

— Как? чтоб запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы.— Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове, всех потопить поганцев!

Эти слова были сигналом, жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалкий крик раздался со всех сторон; но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный высокий оратор, накликавший сам на свою шею беду, схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил:

— Великий господин, ясновельможный пан! Я знал и брата вашего покойного Дороша. Какой был славный воин! Я ему восемьсот цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плена у турков.

— Ты знал брата? — спросил Тарас.

— Ей-богу, знал: великодушный был пан.

— А как тебя зовут?

— Янкель.

— Хорошо, я тебя проведу.— Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли козаки его.— Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись, а вы, братцы, не выпускайте жида.

Сказавши это, он отправился на площадь, потому что раздавшийся бой литавров возвестил собрание рады. Несмотря на свою печаль и сокрушение о случившихся на Украйне несчастиях, он был несколько доволен представлявшимся широким раздольем для подвигов, и притом для подвигов таких, которые представляли ему мученический венец по смерти.

Вся Сеча, все, что было на Запорожье, собралось на площадь. Старшины, куренные атаманы по коротком совещании решили на том, чтобы идти с войсками прямо на Польшу, так как оттуда произошло все зло, желая внести опустошение в землю неприятельскую и предвидя себе при этом добычу.

И вся Сеча вдруг преобразилась. Везде были только слышны пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, скрып телег; все подпоясывалось, облачалось. Шинки были заперты; ни одного человека не было пьяного. Необыкновенная деятельность сменила вдруг необыкновенную беспечность. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа. Это был неограниченный повелитель. Это был почти деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда он раздавал повеления тихо, с расстановкою, как глубоко знающий свое дело и уже не в первый раз приводивший его в исполнение. В деревянной небольшой церкве служил священник молебен, окропил всех святою водою, все целовали крест.

Когда все запорожское войско вышло из Сечи, головы всех обратились назад.

— Прощай, наша мать! — сказали почти все в одно слово.— Пусть же тебя хранит бог от всякого несчастия!

Проходя предместие, Тарас Бульба увидел с изумлением, что жидок его уже раскинул свою лавочку и продавал какие-то кремешки и всякую дрянь.

— Дурень, что ты здесь сидишь? — сказал он ему,— разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

— Молчите,— отвечал жид.— Я пойду за вами и войском и буду продавать провиант по такой дешевой цене, по какой еще никогда никто не продавал. Ей-богу, так! вот увидите.

Бульба пожал плечами и отъехал к своему отряду.

IV

Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха; везде только и слышно было про запорожцев. Скудельные южные города и села были совершенно стираемы с лица земли. Арендаторы-жиды были вешаны кучами, вместе с католическим духовенством. Запорожцы, как бы пируя, протекали путь свой, оставляя за собою пустые пространства. Нигде не смел

остановить их отряд польских войск: они были рассеваемы при первой схватке. Ничто не могло противиться азиатской атаке их. Прелат, находившийся тогда в Радзивилловском монастыре, прислал от себя двух монахов с представлением, что между запорожцами и правительством существует согласие и что они явно нарушают свою обязанность к королю, а вместе с тем и народные права.

— Скажи епископу от лица всех запорожцев,— сказал кошевой,— чтобы он ничего не боялся: это козаки еще только люльки раскуривают.

И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, солдат, жидов наводнили многолюдные города и деревни, почти оставленные на произвол неприятеля.

Один только город Дубно не сдавался. Этим были раздражены все чины, в числе которых занимал не последнее место Тарас Бульба. Они положили взять его голодом. Толпы вольных наездников облегли со всех сторон его стены, расположились вместе с своими обозами, которые всегда почти за ними следовали. Жители с небольшим числом войск решились вытерпеть возможную степень бедствия и не сдаваться ни в каком случае. Запорожцы удвоили наблюдение, чтобы никакое вспомоществование не могло прийти в город, играли в чет и нечет, курили люльки и с убийственным хладнокровием смотрели на городские стены. Прошло две недели, и, несмотря на то что они свои вольные набеги гораздо более предпочитали осадам городов, однако ж ничто не могло преодолеть их терпения.

Молодые, попробовавшие битв и опасностей, сгорали нетерпением, и в числе их были наши герои, Остап и Андрий, вдруг приобревшие опытность в военном деле, пылкие, исполненные отваги, желавшие новых встреч, жадные узнать новые эволюции и вариации войны и показать свое умение играть опасностями. Остап, казалось, только на то и создан был, чтобы гулять в вечном пире войны. Он теперь уже казался чем-то атлетическим, колоссальным. Его движения приобрели

крепкую уверенность, и все качества его, прежде незаметные, получили размер шире и казались качествами мощного льва. Андрий также погрузился весь в очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не соединяются в такой обольстительной, страшной прелести, как в битве.

Этот долгий роздых, который они имели под стенами города, им не нравился. Андрий сидел долго возле обоза своего, тогда как уже все спали, кроме некоторых, стоявших на сторо́же. Ночь, июньская прекрасная ночь, с бесчисленными звездами, обнимала опустошенную землю. Вся окрестность представляла величественное зрелище: вблизи и вдали были видны зарева горевших деревень. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу; в другом месте оно, встретив что-то горючее, вдруг вырвавшись вихрем, свистело и летело вверх под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. В одном месте обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. В другом месте горело новое здание, потопленное в садах. Деревья шипели и покрывались дымом; иногда сквозь них просвечивалась лава огня, и гроздия груш, обвесивших ветви, принимали цвет червонного золота; даже видны были издали сливы, получившие фосфорический, лилово-огненный цвет; и среди этого иногда чернело висевшее на стене здания тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над ним вились вдали птицы, казавшиеся кучею темных мелких крапинок, в виде едва заметных крестиков на огненном поле. Среди тишины одни только спутанные кони производили шум, и звонкое их ржание отдавалось с раскатами, несколько раз повторявшимися дребезжащим эхом.

Он глядел безмолвно на эту страшную и чудную картину и вдруг почувствовал как будто присутствие чего-то; ему казалось, как будто возле него кто-то стоял. Он оглянулся и в самом деле увидел стоявшую подле себя женщину. Смуглые черты лица ее и азиат-

ская физиогномия показались ему как-то знакомыми. Он стал глядеть пристальнее: так! это была татарка! та самая татарка, которая служила горничною при дочери ковенского воеводы. Он встрепенулся. Сердце сильным ударом стукнуло в его мощную грудь, и все минувшее, что было во глубине, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящим вольным бытом,— все это всплыло разом на поверхность, потопивши в свою очередь настоящее; вся гордая сила юности зажглась вдруг самым томительным приливом беспокойства нестерпимого и страстного. Вопросы потоком излились из его груди:

— Откуда? как? где твоя панна? как ты явилась здесь? что это значит? Говори, не мучь меня!

— Тише, ради бога, тише!— говорила татарка и закуталась в козацкий кобеняк, который было сбросила с себя.— Панна узнала вас между запорожцами. Она в городе.

— Милосердый Иисус! она здесь? что ты говоришь? она в городе?

Татарка кивнула утвердительно головою.

— Что ж она? говори, говори! Что ж ты молчишь?

— Она другой день уже ничего не ела.

— Как!

— Ни у одного из жителей в городе нет куска хлеба. Все давно уже едят одну землю.

— Спаситель Иисус! И вы до сих пор не сделали ни одной вылазки?

— Нельзя. Запорожцы кругом облегли стены. Один только потаенный ход и есть; но на том самом месте стоят ваши обозы, и если только узнают этот ход, то город уже взят. Панна приказала мне все объявить вам, потому что вы не захотите изменить ей.

— Боже, изменить ей! И я ее увижу! О!.. когда бы мне не умереть только до того часу!

Вся грудь его была проникнута самым пронзительным острием радости. Он со всем пылом поспешности бросился из шатра своего, начал отыскивать все, что только мог найти съестного, и скоро два небольшие мешка были нагружены пшеном и сухарями. Он дал их в руки татарке, закутал ее плащом и приказал ска-

зать панне, что он скоро будет сам; он велел татарке, отнесши припасы, ожидать его прихода. Он теперь думал только, как бы безопаснее привести ее до места, где был скрыт подземный ход. Этот ход был под самым возом, наполненным военными снарядами. К счастию его, запорожцы, по обыкновенной своей беспечности, все спали мертвецки. Тихо шел он с нею рука об руку и, желая обойти спящих, толкнул ее нечаянно локтем, кобеняк слетел, и зарево ярким блеском осветило ее белое платье. «Спаситель, она открыта! все пропало». Он со страхом и мертвою, убитою душою повел глазами вокруг: боже, какое счастие! даже зоркий сторож, стоявший на самом опасном посте, спал, склонившись на ружье. Татарка, закутавшись крепче в кобеняк, полезла под телегу; небольшой четвероугольник дерну приподнялся — и она ушла в землю.

Торопливо он воротился к своему месту, желая обсмотреть, все ли спят и все ли спокойно.

— Андрий! — сказал в это время, поднявши голову, старый Бульба,— какая это к тебе татарка приходила?

Если бы кто-нибудь в то время посмотрел на Андрия, то бы почел его за мертвеца, вставшего из могилы.

— Эй, смотри, сын! ей-богу, отделаю тебя батогом так, что до представления света будет болеть спина. Бабы не доведут тебя к добру.

Сказавши это, Бульба или был утружден заботами, или занят каким-нибудь важным планом, вовсе не полагая, чтобы эта татарка была из города, а признав ее за какую-нибудь беглянку из села, с которою сын его свел интригу,— как бы то ни было, только он поворотился на другую сторону и заснул.

Андрий отдохнул.

С трепещущим сердцем бросился он к обозам, обшарил, где только было съестное, нагрузил мешки и неизмеримые шаровары свои, и во все продолжение этого сердце его млело, дух занимался и, казалось, улетал при одной мысли о той радости, которая ждала его впереди. Еще раз обсмотрелся он вокруг, не чувствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ни мира, и пополз под телегу. Небольшое отверстие вдруг открылось перед ним и снова за ним захлопнулось.

Он вдруг очутился в совершенной темноте. Он чувствовал под ногами своими ступени, идущие вниз, кто-то схватил его за руку. Они шли долго; наконец ступени прекратились, под ним была гладкая земля. Свет фонаря блеснул в подземном мраке.

— Теперь идите прямо,— говорил ему голос: это была татарка.

Коридор шел под городской стеною и оканчивался такою же лестницею вверх. Наконец он очутился среди города, когда уже занялась заря и перепархивал утренний ветер. Ни одна труба не дымилась. Мертвый вид города прерывался слабыми, болезненными стонами, которые не могли не поразить его. На страже стояли часовые, бледные как смерть; это были больше привидения, нежели люди. Среди самой дороги попался им самый ужасный, поразительный предмет: это была женщина, страшная жертва голода, лежавшая при последнем издыхании, стиснувшая зубами иссохшую свою руку. Содрогнувшись, спешил он вслед за татаркою; он летел всеми чувствами видеть ту, за счастие которой он готов был отдать всю жизнь. Он взбежал на крыльцо; он взошел в комнату. Везде была тишина: все или спало, утомленное страданием, или безмолвно мучилось. Он вступил на порог спальни. О, как замерло его сердце! как замлел он весь, когда оно ему сказало, что через секунду, чрез молнию мига он ее увидит!

И он ее увидел, увидел ту, которая когда-то была беззаботна, весела, ветрена, шаловлива, которая когда-то надевала на него серьги и убирала его своими прекрасными, легкими, как крылья мотыльков, убранствами. Он опять увидел ее. Она сидела на диване, подвернувши под себя обворожительную, стройную ножку. Она была томна; она была бледна, но белизна ее была пронзительна, как сверкающая одежда серафима. Гебеновые брови, тонкие, прекрасные, придавали что-то стремительное ее лицу, обдающее священным трепетом сладкой боязни в первый раз взглянувшего на нее. Ресницы ее, длинные, как мечтания, были опущены и темными тонкими иглами виднелись резко на ее небесном лице. Что это было за создание! И это создание, которое, казалось, для чуда было рождено среди мира, к ногам

которого повергнуть весь мир, все сокровища казалось малою жертвою,— это небесное создание терпело голод и все, что есть горького для жителей земли. Заплесневелая корка хлеба, лежавшая на золотом блюде, как драгоценность, показывала, что еще недавно здесь было чувствуемо все свирепство голода.

Услышавши шум, она приподняла свою голову и обратила к нему взгляд долгий, сокрушительный. Он опять, казалось, исчезнул и потерялся. Лицо ее с первого раза ему показалось как будто другим: в нем были прежние черты, но в нем же заключалась бездна новых, прекрасных, как небеса. Этот признак безмолвного страдания, этот болезненный вид... О, как она была лучше прежнего! Он бросился к ногам ее, приник и глядел в ее могучие очи. Улыбка какой-то радости сверкнула на ее устах, и в то же время слеза, как бриллиант, повисла на реснице.

— Царица!—сказал он,— что для тебя сделать? чего ты хочешь?

Она смотрела на него пристально и положила на плечо его свою чудесную руку. С пожирающим пламенем страсти покрыл он ее поцелуями.

— Нет. Я не пойду от тебя. Я умру возле тебя. Пусть же у ног твоих, пожираемый голодом, я умру, как и ты, моя панна! и за смерть, за сладкую смерть у твоих ног, ничего не хочу!

— А твои товарищи, а твой отец? — ты должен идти к ним,— говорила она тихо. Уста ее еще долго шевелились без слов, и глаза ее, полные слез, не сводились с него.

— Что ты говоришь!— произнес Андрий со всею силою и крепостью воли.— Что бы тогда за любовь моя была, когда бы я бросил для тебя только то, что легко бросить! Нет, моя панна, нет, моя прекрасная! Я не так люблю: отца, брата, мать, отчизну, все, что ни есть на земле,— все отдаю за тебя, все прощай! я теперь ваш! я твой! чего еще хочешь?

Она склонилась к нему головою. Он почувствовал, как электрически-пламенная щека ее коснулась его щеки, и лобзание — у, какое лобзание! — слило уста их, прикипевшие друг к другу.

V

— Пане! — сказал жид Янкель, высунув свой яломок в шатер, где сидел Бульба. Это был тот самый Янкель, которого он избавил от смерти и который теперь маркитанствовал и шпионничал при запорожском войске.— Пане, знаете ли, что делается?

— А что?

— Идет пятнадцать тысяч войска польского, и пушки везут.

— Били двадцатерых, побьем и пятнадцать! — отвечал Бульба.

— А знаете ли, еще что делается?

— А что?

— Ваш сын Андрий — ой, вей мир, что это за славный рыцарь!..

— Ну?

— Он теперь держит сторону Польши.

— Как?— подхватил Бульба, вскочивши,— чтобы дитя мое... чтобы мой сын... да я тебя убью, проклятый жид! врешь ты, чертово племя!

— Ай, ай! как можно, чтобы я врал! Пусть отцу моему не будет счастья на том свете, если я вру.

— Как! чтобы сын Тараса Бульбы да посягнул на такое дело?

— Далибуг, ей-же-богу, так!

— Чтобы он продал Христову веру и отчизну?

— Далибуг, так. Я его видел сам собственными глазами. Фай, какой важный рыцарь! Сто восемьдесят червонных стóят одни латы, богатые латы: все в золоте. А если бы вы увидели, как он славно муштрует солдатами!

Тарас Бульба был поражен, как будто громом.

— Ты путаешь, проклятый Иуда! Не можно, чтобы крещеное дитя продало веру. Если бы он был турок или нечистый жид... Нет, не может он так сделать! Ей-богу, не может!

Но, однако же, он вспомнил, что уже два дни, как его не видал; он вспомнил про татарку, появлявшуюся в его ставке,— и глаза его сверкнули. Ярость, ярость железная, могучая, ярость тигра вспыхнула на его

лице. «Вишь, чертова детина, ты таки свое взяла! Породил же тебя черт на позор всему роду!» С лицом, разгоревшимся от гнева, он вышел из ставки и дал приказ седлать коней. Между тем кошевой раздавал повеления от себя быть всем в готовности и не позволять никаким образом осажденным соединиться с приближавшимися польскими войсками. Неприятельских войск было, однако же, более нежели пятнадцать тысяч. Кошевой вместе с советом старшин решили на том, чтобы усилить более ту линию, которая обращена к неприятелю. Через это цепь с противуположной стороны города ослабела. И хотя польские войска были отбиты с первого раза, и притом с большим уроном, но отряд, остававшийся в городе, решился воспользоваться малочисленностью прикрытия и действительно, сделавши вылазку, прорвался через цепь и успел соединиться почти в виду запорожцев. Бульба рвал на себе волоса с досады, что уже невозможно было уморить их всех голодом. Запорожцы сдвинулись в густую непроломную стену — маневр, всегда доставлявший им существенную выгоду, потому что тактика их соединяла азиатскую стремительность с европейскою крепостию. Неприятель, несмотря на то что был вдвое сильнее, не был в силах удержать превосходства. Битва завязалась самая жаркая и кровопролитная. Тарас Бульба занимал одно из главных начальств, и три коронные полка, не в состоянии будучи удержать его стремительной атаки, готовы были отступить и предаться бегству, как вдруг он обратил все силы свои совершенно в другую сторону.

Он завидел в стороне отряд, стоявший, по-видимому, в засаде. Он узнал среди его сына своего Андрия. Он отдал кое-какие наставления Остапу, как продолжать дело, а сам, с небольшим числом, бросился, как бешеный, на этот отряд. Андрий узнал его издали, и видно было издали, как он весь затрепетал. Он, как подлый трус, спрятался за ряды своих солдат и командовал оттуда своим войском. Силы Тараса были немногочисленны: с ним было только восемнадцать человек, но он ринулся с таким свирепством, с таким сверхъестественным стремлением, что ряды уступали со страхом

перед этим разгневанным вепрем. Вряд ли тогда его можно было с чем-нибудь сравнить: шапки давно не было на его голове; волосы его развевались, как пламя, и чуб, как змея, раскидывался по воздуху; бешеный конь его грыз и кусал коней неприятельских; дорогой акшамет был на нем разорван; он уже бросил и саблю и ружье и размахивал только одной ужасной, непомерной тяжести, булавой, усеянной медными иглами. Нужно было взглянуть только на лицо его, чтобы увидеть олицетворенное свирепство, чтобы извинить трусость Андрия, чувствовавшего свою душу не совсем чистою. Бледный, он видел, как гибли и рассеивались его поляки, он видел, как последние, окружавшие его, уже готовы были бежать, он видел, как уже некоторые, поворотивши коней своих, бросали ружья. «Спасите!— кричал он, отчаянно простирая руки,— куда бежите вы? глядите: он один!» Опомнившиеся воины на минуту остановились и в самом деле ободрились, увидевши, что их гонит только один с тремя утомленными козаками. Но напрасно силились бы они устоять против такой отчаянной воли. «Нет, ты не уйдешь от меня!» — кричал Тарас, поражая бегущих, начинавших думать, что они имеют дело с самим дьяволом. Отчаянный Андрий сделал усилие бежать, но поздно: ужасный отец уже был перед ним. Безнадежно он остановился на одном месте. Тарас оглянулся: уже никого не было позади его, все сотоварищи его полегли в разных местах поля. Их только было двое.

— Что, сынку? — сказал Бульба, глянувши ему в очи.

Андрий был безответен.

— Что, сынку?— повторил Тарас.— Помогли тебе твои ляхи?

Андрий не произнес ни слова; он стоял, как осужденный.

— Так продать, продать веру? Проклят тот и час, в который ты родился на свет!

Сказавши это, он глянул с каким-то исступленно-сверкающим взглядом по сторонам.

— Ты думал, что я отдам кому-нибудь дитя свое? Нет! Я тебя породил, я тебя и убью! Стой и не шеве-

лись, и не проси у господа бога отпущения: за такое дело не прощают на том свете!

Андрий, бледный как полотно, прошептал губами одно только имя, но это не было имя родины, или отца, или матери: это было имя прекрасной полячки.

Тарас отступил на несколько шагов, снял с плеча ружье, прицелился... выстрел грянул...

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почувствовавший смертельное железо, повис он головою и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и думал: предать ли тело изменника на расхищение и поругание, чтобы хищные птицы растрепали его и сыромахи-волки расшарпали и разнесли его желтые кости, или честно погребсти в земле.

В это время подъехал Остап.

— Батько!— сказал он.

Тарас не слышал.

— Батько, это ты убил его?

— Я, сынку!

Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрек. Он бросился обнимать своего товарища и спутника, с которым двадцать лет росли вместе, жили пополам.

— Полно, сынку, довольно! Понесем мертвое тело, похороним!— сказал Тарас, который в то время сжал в груди своей подступавшее едкое чувство.

Они взяли тело и понесли на плечах в обгорелый лес, стоявший в тылу запорожских войск, и вырыли саблями и копьями яму.

Тарас оставил копье и взглянул на труп сына. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, еще сохраняло в себе следы их; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты.

— Чем бы не козак был?— сказал Тарас,— и станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою — пропал! пропал без славы!..

Труп опустили, засыпали землею, и чрез минуту уже Тарас размахивал саблею в рядах неприятельских

как ни в чем не бывало. Разница в том только, что он бился с бо́льшим исступлением, сгорая желанием отмстить смерть сына. Прибывший в то время его собственный полк, под начальством Товкача, доставил ему значительный перевес. Он наконец узнал, кто был виною отступничества его сына, и положил во что бы ни стало взять город. И он бы исполнил это. Свирепый, он бы протек как смерть по его улицам. Он бы вытащил ее своею железною рукою, ее, обворожительную, нежную, блистающую; свирепо повлек бы ее, схвативши за длинные, обольстительные волосы, и его кривая сабля сверкнула бы у ее голубиного горла... Но одно непредвиденное происшествие остановило его на пути непримиримой мести.

VI

В запорожское войско пришло известие, что Сеча взята, разорена татарами и бо́льшая часть остававшихся запорожцев забрана в плен вместе с несколькими пушками. В подобных случаях обыкновенно козаки старались, не теряя времени, настигнуть хищников на возвратной их дороге и перехватить добычу, потому что тремя неделями позже уже этого сделать было невозможно и пленные козаки могли вдруг очутиться на рынках Великой Азии. Кошевой положил, и мнение его подкрепили прочие чины, идти на помощь немедленно, рассуждая, что уже довольно они отмстили за измену полякам и смерть гетманов и что опустошенные поля будут помнить, как гостили на них запорожцы. На это изъявил согласие и Бульба, хотя ему чрезвычайно хотелось взять город. Уже он отправился, чтобы отдать приказ вьючить коней и мазать телеги, как вдруг остановился и сказал:

— Я хотел спросить еще об одном у тебя, атаман! Ведь, кажется, в неприятельском войске есть наших человек тридцать в плену?

— Я посылал просить размена — не соглашаются.

— Так мы, стало быть, их и оставим так?

— Что ж делать.

— Как! чтобы они опять замучили их?

— А что ж делать!— отвечал кошевой,— ведь помочь нельзя; хоть и останемся, то не одолеем, а между тем и свое прогуляем: татарва не станет ожидать нас.

— Так, стало быть, пусть еретичное поганство как хочет, так и ругается над христианскою верою?

Кошевой пожал плечами.

— А мне кажется, атаман, так не бывать этому.

— А отчего ж бы не бывать?

— Да так: я уже знаю.

— Ова, как важно! — сказал кошевой, прижавши пальцем золу в своей люльке.

— Слышали ли вы, панове, что кошевой хочет сделать?— сказал Бульба, выходя от кошевого и обращаясь к запорожцам.— Он хочет, чтобы мы теперь же отправились на Сечу, а товарищей, тех, что попались в плен неприятелю, так бы и оставили, чтобы их замучило поганое еретичество. Что вы скажете на это?

— Не послушаем мы кошевого!— сказала в один голос часть запорожцев, отделилась и стала на стороне. Их было около тысячи человек.

Кошевой вышел. Он уже слышал волнение, которое произвел неугомонный Бульба.

— Чего вы хотите? Из чего подняли вы такой гвалт?— закричал он грозно.

— Мы не хотим идти на Сечу! Мы остаемся здесь!— кричала толпа.

— Что вы? сдурели? Я вас, чертовы дети, перевяжу всех!

— Какую он может иметь власть?— сказал Тарас, обращаясь к запорожцам.— Мы — вольные козаки!

— А что ж? мы вольные козаки!— говорили запорожцы.

— Дам я вам вольных! Вы где вольные?— на Сече. Вот там вы вольные! Там вы можете снять с меня достоинство, связать меня, и убить, и все, что хотите; а тут вы ни слова. Знаете ли вы, что такое военное право? А ты что тут заводишь бунт?— сказал он, обращаясь к Бульбе.

— Нет, я не бунт чиню, а исполняю долг христианский! — хладнокровно отвечал Тарас. — Я стою за права наши, ибо мы должны защищать христианскую кровь.

— Я тебя, старый черт, присмыкну к обозу.

— А ну, попробуй!

— Слушайте, пане-браты! — сказал кошевой, несколько смягчивши речь. — За что же вы оставляете тех своих товарищей, которых на Сече забрала татарва в полон? Или вы думаете, что татары поступят лучше, чем ляхи?

— То татарва, а то ляхи — другое дело, — отвечал Бульба. — Еще у бусурмена есть совесть и страх божий, а у католичества и не было и не будет. Постойте, хлопцы, и я скажу. Что, если бы вы попалися в плен да начали бы с вас живых драть кожу или жарить на сковродах? Что бы вы тогда сказали? А из ваших земляков, из товарищей, из тех, что должны до последней крови защищать, — из тех товарищей ни один бы не захотел подать руку помощи, — что бы вы тогда сказали?

— А что бы сказали? — произнесли некоторые. — Сказали бы: вы помои, а не запорожцы! — Заметно было, что слова Тараса сильно потрясли их.

— Стойте, хлопьята, и я скажу! — кричал атаман. — Ну, скажите, панове-браты, куда ваш ум делся? Посудите сами, где вам управиться с такими неприятелями? Их больше десяти тысяч, а вас, может быть, две. Ведь пропадете все на месте!

— Пропадать так пропадать! — сказал Бульба.

— Оставайтеся же тут, если уже так захотели своей погибели! А те, которые разумнее вас, гайда в дорогу!

— Вы делайте свое, а мы будем делать свое! — сказал Бульба.

Обе стороны неподвижно стали одна против другой и минуту сохраняли мертвое молчание.

Наконец стоявшие в первых рядах поседевшие запорожцы, утупив глаза в землю, начали говорить:

— Оно, конечно, если рассудить по справедливости, то и вы исполняете честь лыцарскую, и мы поступаем по лыцарскому обычаю. На то и живет человек, чтобы защищать веру и обычай. Притом жизнь такое дело,

что если о ней сожалеть, то уже не знаем, о чем не жалеть. Скоро будем жалеть, что бросили жен своих. Нужно же попробовать, что такое смерть. Ведь пробовали всякие невзгоды в жизни. В том и другом случае мы не должны питать друг против друга никакоï неприязни. Мы все запорожцы, все из одного гнезда, всех нас вспоила Сечь, все мы братья родные... Спрашиваем каждого: не имеет ли против нас какого неудовольствия?

— Никакого! всегда были довольны!— закричали все в один голос.

— Ну, так пусть же на расставанье,— что будет впредь, то бог один знает: может быть, ни один из нас уже не увидит дружка дружку,— так поцелуемся все.

И две тысячи войска перецеловались с двумя тысячами. Кошевой обнял Тараса.

— Ну, прощайте же, паны-браты, молодцы! Дай же, боже, чтобы все было так, как богу угодно! Если мы положим головы, то вы расскажете про нас, что такие-то гуляки недаром жили. Если же вы поляжете и примете честную смерть, то мы поведаем, чтобы знала вся Украйна, да и другие земли, что были такие молодцы, которые и веру Христову знали оборонять, да и товарищество уважали. Прощайте! пусть благословение божие будет и с вами и с нами!

Обе половины войска соединились вместе, чтобы не дать узнать неприятелю о своем разделении, и отступили к обгорелому монастырю, у подошвы которого был глубокий яр. Удалявшаяся половина с кошевым атаманом опустилась по скату горы и яром, невидимая неприятелем, пробиралась в тишине и молчании. Стоявший на высоте отряд польского войска не мог не заметить некоторого движения в войсках запорожских и уже решился было в тот же час сделать нападение, но французский артиллерист и инженер, служивший в польских войсках, большой знаток военного дела, остановил их, сказавши:

— Нет, нет, господа! это не то, что вы думаете: это больше ничего, как самая дьявольская засада. О, этот народ, запороги,— сказал он, положивши палец на свой ястребиный нос, причем голос его, дотоле хрип-

лый, пискнул дискантом,— этот народ, запороги, хитер, как сам черт или как капитан-дьявол!

— Ну, панове молодцы!— сказал Бульба по удалении войска,— теперь пришла нам пора показать честь запорожскую. Глядите же: если придется до того, что уже не можно будет стоять против бусурменов, то, панове, чтобы все полегли на месте, чтобы ни один не остался вживе, чтобы все, как добрые товарищи, покотом улеглись в одной могиле. Теперь, перед великим часом, выпьем, паны-браты, горелки, потому что судьба наша теперь похожа на свадьбу, на которой должен веселиться всякий человек.

Пятьдесят козаков отправились к обозам и вынули баклажки, готовясь отправлять должность виночерпиев. Две тысячи козаков подставили свои рукавицы.

— Прежде всего, пане-браты,— сказал Бульба, поднявши вверх свою рукавицу,— долг велит выпить за веру Христову! Чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась она и все бусурмены поделались бы наконец христианами. Да за одним уже разом и за Сечь, чтобы долго, долго она стояла на гибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один другого лучше, один другого лучше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, что не постыдили товарищества и не выдали своих. Итак, панове-браты, чтобы как эта горелка играет и шибает пузырями, так бы и мы шли на смерть. Нуте, разом за веру!

— За веру! — повторили ближние ряды, подняв вверх рукавицы.

— За веру!— подхватили дальние.

— За Сечь!— сказал Бульба, подняв снова рукавицу.

— За Сечь!— грянули ближние.

— За Сечь!— отозвалось в дальних.

— За славу и за всех христиан, какие живут на божьем свете!

— За славу и христиан!— повторили ближние.

— За славу и христиан!— повторили дальние.

— Теперь на коней, хлопьята!

Все очутились на конях и выехали вместе стройною кучею. Все дышали силою, свыше естественной. Это не был дикий энтузиазм, порожденный отчаянием: это было что-то совершенно другое. Какое-то вдохновение веселости, какой-то трепет величия ощущался в сердцах этой гульливой и храброй толпы. Их черные и седые усы величаво опускались вниз; их лица были исполнены уверенности. Каждое движение их было вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила на неприятеля твердо, не совокупляя всей своей силы, но как будто веселясь и играя своим положением. Под свист пуль выступали они, как под свадебную музыку. Без всякого теоретического понятия о регулярности, они шли с изумительною регулярностию, как будто бы происходившею оттого, что сердца их и страсти били в один такт единством всеобщей мысли. Ни один не отделялся; нигде не разрывалась эта масса. Польские войска, которые было приняли их с стремительным упорством, начали отступать, пораженные робостию и думая, не сверхъестественная ли какая сила начала помогать козакам. Лучшие распоряжения армии были совершенно уничтожены этою разрушительною силою. Вся эта конная толпа неслась как-то вдохновенно, не изменяясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина, и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее. Французский инженер, который был истинный в душе артист, бросил фитиль, которым готовился зажигать пушки, и, позабывшись, бил в ладони, крича громко: «Браво, месье запороги!»

Около двух тысяч человек неприятеля было убито и столько же рассыпалось и обратилось в бегство. Свежее новоприбывшее войско остановилось как бы в недоумении. Запорожцы, с своей стороны, не решались идти далее. В виду самого неприятеля взяли они оставленные пушки, часть обоза с провиантом и отступили так же страшно, в таком же точно порядке к обгоревшему монастырю, которого положение чрезвычайно благоприятствовало укрытию. Бульба пировал вместе с запорожцами после такой славной битвы; но, когда обсмотрел и перечел ряды свои, их оставалось всего только не больше тысячи. Между тем новые войска

приходили беспрестанно на помощь, и если что спасло его от неприятельского нападения, так это глубокая догадка французского инженера, заставлявшего опасаться скрытого множества запорожцев.

Между тем Бульба узнал, что запорожские пленники отправлены с конвоем по Варшавской дороге. В голове его тотчас родилась мысль перехватить их. Объявивши об этом войску, он начал тайно готовиться к отступлению. Целый день козаки мазали дегтем свои телеги, чтобы не скрыпели; бо́льшую половину пушек закопали в землю, чтобы они не могли достаться неприятелю, и продолжали беспрестанную перестрелку. Часть запорожцев скинула с себя верхнюю одежду; из нее поделали чучел и расставили на стенах монастырских везде, где была стража. За монастырем они нашли дорогу, о которой, по всем вероятностям, ничего не знали неприятели. Она продиралась между двумя рытвинами и была совершенно завалена изрубленным лесом и пеплом. Пользуясь глубоким мраком ночи, они тронулись, потянулись гужом со всем обозом, продирались около пяти верст и наконец пробрались на чистое поле, где совершенно уже не было видно неприятеля. Запорожцы приударили коней и понеслись. Еще полчаса времени — и они бы, верно, встретили своих закованных земляков. Они бы имели еще достаточное время броситься на проселочную дорогу, и благодаря быстроте татарских коней, может быть, Сеча увидела бы вновь своих славных защитников.

Но, как нарочно, польские войска вздумали сделать нападение на монастырь. Дальновидный инженер искусно зажег лес, к нему примыкавший, уверяя, что все будут иметь славное жаркое из козачьей дичи. Но глубокая тишина изумила их. Изумление еще более увеличилось, когда они увидели вместо замеченных ими издали запорожцев одни чучела. По всем признакам они видели, что запорожцев было небольшое число. Это увеличило их досаду, и начальствовавший войсками, человек запальчивый, в ту же минуту отдал приказ устремиться на преследование.

Если бы Бульба не выбрался так громоздко, то он мог бы быть до сих пор гораздо далее и тем, может быть,

ускользнуть от преследования. Но он пожалел оставить несколько пушек, а чрез несколько минут увидел подымавшуюся пыль от многочисленного, с двух сторон шедшего войска. «Вишь, черт побери! Ляхи пронюхали»,— сказал он, выпустив изо рта люльку, которую уже начал было курить с величайшим спокойствием.

Видя невозможность дальнейшего отступления от такого множества, он, с обыкновенным своим хладнокровием, дал повеление сдвинуть обоз в кучу и окружить его несколькими рядами запорожцев. Этот маневр считался совершенством козацкой тактики и возбуждал всегда удивление даже в самых глубоких теоретиках тогдашнего военного искусства. Его цель состояла в том, чтобы скрыть тыл. Тут козаки никогда не были побеждаемы: окружая обоз непроломною стеною, они со всех сторон были обращены лицом к неприятелю. Пушки доставили им большую выгоду, не допуская их к близкой схватке и не утомляя чрез это их рядов, тем более что неприятель, желая скорее настигнуть, отправился налегке. Войска польские, всегда отличавшиеся нетерпеливостию, уже готовы были бросить, если бы одна оплошность со стороны запорожцев не облегчила их.

В это время Остап, выстрелявший на своей стороне все пушечные заряды, увлекаемый пылкостию и негодуя на бездейственное положение, отделился немного подалее от обоза, вступил в мелкую перестрелку, а потом и в рукопашную битву. Его свирепое мужество рассеяло часть рядов неприятельских, но скоро он был схвачен стиснувшим его множеством, и старый Тарас видел собственными глазами, как он поднят несколькими руками, связан толстыми веревками и уведен в толпу. Желание подать помощь и освободить любимого сына заставило его позабыть важность своего поста. Он отделился вместе с большею частию запорожцев от обоза и ударил в средину неприятеля, где полагал находившимся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись в толпе, разделенные толпою. Каждый должен был действовать отдельно, и нужно было видеть, как каждый из них ворочался, как молния, на все стороны, действуя и саблей, и ружейным прикладом, и нагайкою, и кием.

Каждый видел перед собою смерть и старался только подороже продать свою жизнь. Бульба, как гигант какой-нибудь, отличался в общем хаосе. Свирепо наносил он свои крепкие удары, воспламеняясь более и более от сыпавшихся на него. Он сопровождал все это диким и страшным криком, и голос его, как отдаленное ржание жеребца, переносили звонкие поля. Наконец сабельные удары посыпались на него кучею; он грянулся, лишенный чувств. Толпа стиснула и смяла, кони растоптали его, покрытого прахом. Ни один из запорожцев не остался в живых: все полегли на месте. И ни один живой трофей не был свидетелем победы, одержанной польскими войсками.

VII

— Долго же я спал!— говорил Бульба, осматривая углы избенки, в которой он лежал, весь израненный и избитый.— Спал ли я это, или наяву видел?

— Да, чуть было ты навеки не заснул!— отвечал сидевший возле него Товкач, лицо которого одну минуту только блеснуло живостью и опять погрузилось в обыкновенное свое хладнокровие.

— Добрая была сеча! Как же это я спасся? Ведь, кажется, я совсем был под сабельными ударами, и что было далее, я уже ничего не помню...

— Об том нечего толковать, как спасся; хорошо, что спасся.

Товкач был один из тех людей, которые делают дела молча и никогда не говорят о них.

На бледном и перевязанном лице Бульбы видно было усилие припомнить обстоятельства.

— А что же сын мой?.. что Остап? И он лег также вместе с другими и заслужил честную могилу?

Товкач молчал.

— Что ж ты не говоришь? Постой! помню, помню: я видел, как скрутили назад ему руки и взяли в плен нечестивые католики,— и я не высвободил тебя, сын мой! Остап мой! изменила наконец сила!— Морщины сжались на лбу его, и раздумье крепко осенило лицо, покрытое рубцами.

— Молчи, пан Тарас. Чему быть, тому быть. Молчи да крепись: еще нам больше ста верст нужно проехать.

— Зачем?

— Затем, что тебя теперь ищет всякая дрянь. Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесет ее, тому дадут две тысячи червонцев?

Но Тарас не слышал речей Товкача.

— Сын мой, Остап мой! — говорил он,— я не высвободил тебя!

И прилив тоски повергнул его в беспамятство. Товкач оставался целый день в избе, но с наступлением ночи он увез бесчувственного Тараса. Увернув его в воловую кожу, уложил в ящик наподобие койки, укрепил поперек седла и пустился во всю прыть на татарском бегуне. Пустынные овраги и непроходимые места видели его, летевшего с тяжелою своею ношею. Товкач боялся встреч и преследований, и хотя уже он был на степи, которой хозяевами более других могли считаться запорожцы, но тогдашние границы были так неопределенны, что каждый мог прогуляться на нехранимой земле, как на своей собственности. Он не хотел везти Тараса в его хутор, почитая там его менее в безопасности, нежели на Запорожье, куда он теперь держал путь свой. Он был уверен, что встреча с прежними товарищами, пирушки и новые битвы оживят его скорее и развлекут его. Он действительно не обманулся. Железная сила Тараса взяла верх, несмотря на то что ему было шестьдесят лет; через две недели он уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь его. По-видимому, самые пиршества запорожцев казались ему чем-то едким. С ним неразлучно было то время, которому еще и двух месяцев не прошло,— то время, когда он гулял с своими сыновьями, еще крепкими, свежими, исполненными сил,— и на этом дотоле ничем не колеблемом лице прорывалась раздирающая горесть, и он тихо, понурив голову, говорил: «Сын мой! Остап мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее; видела

чалмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровию полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свои свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах; но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Неподвижный, сидел он на берегу, шевеля губами и произнося: «Остап мой, Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилалось Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою.

Когда жид Янкель, который в то время очутился в городе Умани и занимался какими-то подрядами и сношениями с тамошними арендаторами,— когда жид Янкель молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Жиду прежде всего бросились в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он тут же устыдился своей корысти и силился подавить в себе эту вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.

— Слушай, Янкель!— сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели.— Я спас твою жизнь, теперь ты сделай мне услугу!

Лицо жида несколько поморщилось.

— Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать?

— Не говори ничего. Вези меня в Варшаву!

— В Варшаву? как в Варшаву? — сказал Янкель; брови и плечи его поднялись вверх от изумления.

— Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву! Что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово.

— Как можно такое говорить?— говорил жид, расставив пальцы обеих рук своих.— Разве пан не слышал, что уже...

— Знаю, знаю все: за мою голову дают две тысячи червонных. Знают же они, дурни, цену ей! Я тебе двенадцать дам. Вот тебе две тысячи сейчас,— при этом Бульба высыпал из кожаного гамана две тысячи червонных,— а остальные, как ворочусь.

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы.

— Славная монета!— сказал он, вертя один из них в своих пальцах и пробуя на зубах.

— Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете. Вы знаете все штуки. Вот для чего я пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня!

— А как же, вы думаете, мне спрятать пана?

— Да уж вы, жиды, знаете как: в порожнюю бочку или там во что-нибудь другое.

— Как можно в бочку? Всяк подумает, что горелка!

— Ну, что ж? То и хорошо.

— Как хорошо? Ах, боже мой! как можно эдакое говорить! Разве пан не знает, что бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал? Там всё такие ласуны, что боже упаси. А особливо военный народ: будет бежать верст пять за бочкою, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет порожнюю бочку; верно, тут есть что-нибудь».

— Ну, так положи меня в воз с рыбою.

— Ох, вей мир! не можно; ей-богу, не можно! Там везде по дороге люди голодные, как собаки; раскрадут, как ни береги, и пана нащупают.

— Так вези меня хоть на черте, только вези!

— Стойте, стойте! Теперь возят по дорогам много кирпичу. Там строят какие-то крепости. Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, что будет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.

— Делай как хочешь, только вези!

И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развевались из-под яломка, по мере того как он подпрыгивал на лошади.

VIII

В то время когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большею частию для своего собственного удовольствия, особливо если на возу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота.

Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц, и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную, узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы со множеством протянутых из окон жердей увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху ощекатуренный кусок

стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимою для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что было только у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он надеется доставить ему свидание.

Бульба вошел вместе с тремя жидами в комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его. На грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния. Старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши.

— Слушайте, жиды!— сказал он, и в словах его было что-то восторженное.— Вы всё на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского, и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа! Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных,—

я прибавлю еще двенадцать. Все какие у меня есть дорогие кубки и закопанное в земле золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь, с тем чтобы все, что ни добуду на войне, делить с вами пополам!

— О, не можно, любезный пан! не можно!— сказал со вздохом Янкель.

— Нет, не можно!— сказал другой жид.

Все три жида взглянули один на другого.

— А попробовать? — сказал третий, боязливо поглядывая на двух других.— Может быть, бог даст.

Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать. Он слышал только часто произносимое слово «Мардохай» и больше ничего.

— Слушай, пан!— сказал Янкель.— Нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У, у! то такой мудрый, как Соломон, и когда он ничего не сделает, то уже никто на свете не сделает. Сиди тут! вот ключ! и не впускай никого!

Жиды вышли на улицу.

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно. К ним присоединился скоро четвертый, наконец и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы. Наконец в конце ее, из-за одного дрянного дома, показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтанья. «А! Мардохай! Мардохай!»— закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказывать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки,

причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший на сторо́же, должен был давать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность,— но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился.

Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал:

— Когда мы да бог захочет сделать, то уже будет так, как нужно.

Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие: верхняя губа у него была просто страшилище. Толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только пятнадцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за роди́мые пятна.

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб: он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец, уже ввечеру поздно, показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

— Что? удачно?— спросил он их с нетерпением дикого коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который хотя довольно неопрятно,

но все же вился кольцами из-под яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто бы страдал простудою.

— О любезный пан!— сказал Янкель,— теперь совсем не можно! ей-богу, не можно! Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет. Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете, но бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить.

Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева.

— А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья! Ой, вей мир, что это за корыстный народ! и между нами таких нет. Пятьдесят червонцев я дал каждому, а левентарю...

— Хорошо. Веди меня к нему! — произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу.

Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке для Бульбы. Янкель лег на полу, на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтанье и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал. Он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцем по столу. Он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля.

— Вставай, жид, и давай твою графскую одежду!

В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на темя маленькую темную шапочку,— и никто бы из самых близких к нему козаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкою в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная, узкая башня, на верху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей. Тут были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал:

— Это мы, слышите, паны, это мы.

— Ступайте!— говорил один из них, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов.

Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху.

— Кто идет?— закричало несколько голосов; и Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении.— Нам никого не велено пускать.

— Это мы!— кричал Янкель.— Ей-богу, мы, ясные паны!

Но никто не хотел слушать. К счастию, в это время подошел какой-то толстяк, который, по всем приметам, казался начальником, потому что ругался сильнее всех.

— Пан, это ж мы. Вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить.

— Пропустите, сто дьяблов чертовой матке! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидал и не собачился на полу...

Продолжения красноречивого приказа уже не слышали наши путники.

— Это мы, это я, это свои! — говорил Янкель, встречаясь со всяким.

— А что, можно теперь? — спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался.

— Можно, только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой, — отвечал часовой.

— Ай, ай! — произнес тихо жид, — это скверно, любезный пан!

— Веди! — произнес упрямо Тарас. Жид повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему.

— Ваша ясновельможность! ясновельможный пан!

— Ты, жид, это мне говоришь?

— Вам, ясновельможный пан.

— Гм... а я просто гайдук! — сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами.

— А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. Ай, ай, ай!.. — При этом жид покрутил головою и расставил пальцы. — Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник! совсем полковник! Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки!

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились.

— Что за народ военный! — продолжал жид. — Ох, вей мир, что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки... так от них блестит, как от солнца; а цурки, где только увидят военных... ай, ай!

Жид опять покрутил головою.

Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание.

— Прошу пана оказать услугу! — произнес жид.— Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на козаков. Он еще сроду не видел, что это за народ козаки.

Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. Московию и Украйну они почитали уже находящимися в Азии. И потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя.

— Я не знаю, ваша ясновельможность,— говорил он,— зачем вам хочется смотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает.

— Врешь ты, чертов сын! — сказал Бульба.— Сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретичную веру не уважают!

— Эге-ге! — сказал гайдук.— А я знаю, приятель, кто ты: ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших.

Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастию, Янкель в ту же минуту успел подвернуться.

— Ясновельможный пан! как же можно, чтобы граф да был козак? А если бы он был козак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский?

— Рассказывай себе! — и гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть.

— Ваше королевское величество! молчите! Молчите, ради бога! — закричал Янкель.— Молчите! мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели: мы дадим вам два золотых червонца.

— Эге! два червонца! Два червонца мне нипочем. Я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил. Сто червонных давай, жид! —

Тут гайдук закрутил верхние усы.— А как не дашь ста червонных, сейчас закричу!

— И на что бы так много? — горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой. Но он счастлив был, что в его кошельке не было более и что гайдук далее ста не умел считать.— Пан! пан! уйдем скорее! Видите, какой тут нехороший народ!— сказал Янкель, заметивши, что гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более.

— Что ж ты, чертов гайдук,— сказал Бульба,— деньги взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать.

— Ступайте, ступайте к дьяволу! а не то я сию минуту дам знать, и вас тут... Уносите ноги, говорю я вам, скорее!

— Пан! пан! пойдем! ей-богу, пойдем! Цур им! Пусть им приснится такое, что плевать нужно!— кричал бедный Янкель.

Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.

— И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народ, что не может не браниться! Ох, вей мир, какое счастие посылает бог людям! Сто червонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно, а никто не даст ста червонных. О боже мой! боже милосердый!

Но неудача эта гораздо более имела влияния на Бульбу. Она выражалась пожирающим пламенем в его глазах.

— Пойдем!— сказал он вдруг, как бы встряхнувшись,— пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить.

— Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже.

— Пойдем! — упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали спросонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мученье!»— кричали из них многие с истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь; однако же простаивали иногда довольное время. Иной, и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но бо́льшая часть была таких, которые на весь мир и на все, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу.

На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич, или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкою своею, Юзысею, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка Юзыся,— говорил он,— весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты,— то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив;

а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого, что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством.

Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами, сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, как белый сахар, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп, в блестящем убранстве, с откидными назад рукавами, разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлою ручкою своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла наподхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своею головою, в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощию длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем: перегнувши набок нос и поднявши лапу, он, с своей стороны, рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут! ведут!.. козаки!»

Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены; они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою горделивостию; их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями; они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел в него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко:

— Дай же, боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!

После этого он приблизился к эшафоту.

— Добре, сынку, добре!— сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.

Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки и... Я не стану смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою до такой степени, что сделался глух для человеколюбия. Должно, однако ж, сказать, что король всегда почти являлся первым противником этих ужасных мер. Он очень хорошо видел, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение козачьей нации. Но король не мог сделать ничего против дерзкой воли государственных магнатов, которые непостижимою недальновидностью, детским самолюбием, гордостью и неосновательностью превратили сейм в сатиру на правление.

Остап выносил терзания, как исполин, с невообразимою твердостью, и когда начали перебивать ему на руках и ногах кости, так что ужасный хряск их слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои,— ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его. Лицо его не дрогнулось. Тарас стоял в толпе с потупленною головою и с поднятыми, однако же, глазами и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»

Наконец сила его, казалось, начала подаваться. Когда он увидел новые адские орудия казни, которыми готовились вытягивать из него жилы, губы его начали шевелиться.

— Батько!— произнес он все еще твердым голосом, показывавшим желание пересилить муки.— Батько, где ты? слышишь ли ты?

— Слышу!— раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул.

Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел как смерть, и когда они немного отдалились от него, он со страхом оборотился назад; но Тараса уже возле него не было: его и след простыл.

IX

След Тарасов отыскался. Тридцать тысяч козацкого войска показалось на границах Украйны. Это уже не был какой-нибудь отряд, выступавший для добычи или своей отдельной цели: это было дело общее. Это целая нация, которой терпение уже переполнилось, поднялась мстить за оскорбленные права свои, за униженную религию свою и обычай, за вероломные убийства гетманов своих и полковников, за насилие жидовских арендаторов и за все, в чем считал себя оскорбленным угнетенный народ. Верховным начальником войска был гетман Остраница, еще молодой, кипевший желанием скорее сбросить утеснительный деспотизм, наложенный самоуправием государственных магнатов, и очистить Украйну от жидовства, унии и постороннего сброда. Возле него был виден престарелый и опытный товарищ и советник его Гуня. Сорок тысяч лошадей нетерпеливо ржали под седоками и без седоков. Восемь полков, из которых половина конных и половина пеших, в суконных алых, синих и желтых кафтанах, выступали браво и горделиво. Восемь опытных полковников правили ими и хладнокровным движением бровей своих ускоряли или останавливали нетерпеливый поход их. Одним из них начальствовал Бульба. Преклонные лета, слава и опытность давали ему значительный перевес в совете; но неумолимая и свирепая жестокость его казалась ужасною даже для глубоко оскорбленных защитников. Его совет дышал только одним истреблением, и седая голова его определяла только огонь и виселицу.

Не буду описывать тех битв, где отличились козаки, ни постепенного хода всей великой кампании: это принадлежит истории. Там изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов,

как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды, как слаб был коронный гетман Николай Потоцкий с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы, как, разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска, как облегли его в небольшом местечке Полонном грозные козацкие полки и как приведенный в крайность польский гетман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ; но козаки, наученные прежним вероломством, были неумолимы, и Потоцкий не красовался бы более на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных панн и зависть дворянства, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Торжественная процессия с образами и крестами и мольбы священника-старца тронули козаков, еще чувствовавших узы, привязывавшие их к королю. Гетман и полковники решились отпустить Потоцкого не прежде, как заключивши трактат, обеспечивший бы во всем козаков.

Но непреклонный Тарас вырвал из белой головы своей клок волос, когда увидел такое, по словам его, бабье малодушие полковников. «Не попущу, полковники, чтобы вы учинили такое дело!» — вскричал он твердо. Но на этот раз совет его был отвергнут. «Эй, не верьте, паны, ляхам!» — повторил он опять тем же голосом, помахивая нагайкою и хлеснувши ею по пушке. Когда же полковой писарь подал уже написанное условие подписать гетману, он махнул рукою и сказал:

— Оставайтесь же себе, паны! Меня вы больше не увидите. Глядите, паны: вы вспомните меня!— И голос его имел в себе что-то пророческое.— Вы думаете, что купили этим спокойствие и будете теперь пановать? Увидите, что не будет сего! Сдерут с твоей головы, гетман, кожу! набьют ее гречаною половою, и долго будут видеть ее по ярмаркам! Да и у вас, паны, у редкого уцелеет голова! Пропадете вы в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если не сварят вас живых в котлах, как баранов!

— А вы, хлопцы, хотите умирать?— продолжал он, обращаясь к своему полку,— умирать так, как умирают честные козаки? А может быть, вы думаете еще пожить да залечь дома на печь, да и лежать там, покамест не приберет враг? Что ж лучше, спрашиваю я вас, молодцы: воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила вас жинка, и, напившись, пропасть где-нибудь под тыном, как собака,— или всем, как верным лыцарям, как братьям родным, лечь вместе на поле и оставить по себе славу навеки?

— За тобою, пане полковнику! за тобою все!— отвечали передние в полку.— Веди! ей-богу, веди!

— Добре, паны молодцы!— сказал Тарас, взявши свою шапку в руки и потом опять надевши ее на голову. Глаза его сверкнули.— Вырежем все католичество, чтобы его и духу не было! Пусть пропадут нечестивые! Гайда, хлопцы!

Сказавши это, исступленный седой фанатик отправился с полком своим в путь. Другие козаки с завистью глядели на удалявшихся сотоварищей, и только одно строгое повиновение к полковникам, бывшее всегдашнею их добродетелию, препятствовало многим охотникам к ним присоединиться.

Гетман и полковники не остановили удалявшегося полка. Казалось, предсказание Тараса несколько смутило их,— по крайней мере они сидели несколько времени молча и не глядя друг на друга. Скоро, однако же, пророческие слова Бульбы исполнились. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневым, голова гетмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками.

Но обратимся к нашей истории. Что ж делал Тарас с своим полком? А Тарас выжег восемнадцать местечек, около сорока костелов и уже доходил до Кракова. Напрасно небольшие отряды войск посылаемы были схватить его: он всегда почти разминался с ними. Он поступал неожиданно, скрывая свои намерения, и когда одно селение или небольшой городок ожидал с ужасом его прибытия, он вдруг переменял дорогу и нес гибель туда, где его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмелилась бы изобразить всех тех свирепств,

которыми были означены разрушительные его опустошения. Ничто похожее на жалость не проникало в это старое сердце, кипевшее только отмщением. Никому не оказывал он пощады. Напрасно несчастные матери и молодые жены и девицы, из которых иные были прекрасны и невинны, как ландыш, думали спастись у алтарей: Тарас зажигал их вместе с костелом. И когда белые руки, сопровождаемые криком отчаяния, подымались из ужасного потопа огня и дыма к небу и растрепанные волосы сквозь дым рассыпались по плечам их, а свирепые козаки подымали копьями с улиц плачущих младенцев и бросали их к ним в пламя,— он глядел с каким-то ужасным чувством наслаждения и говорил: «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!»— и такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении. Наконец польское правительство увидело, что поступки Тараса были несколько более, нежели обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

Тарас понял опасность и поворотил назад. Проселочными дорогами, ночью, скакал он с своими козаками во всю мочь, и одни только татарские кони, которых он имел обычай держать целый табун при своем войске, могли вынести необыкновенную быстроту его бегства. Но на этот раз Потоцкий был достоин возложенного на него поручения: он преследовал его с удивительною неутомимостью и наконец настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для небольшого роздыха оставленную полуразвалившуюся крепость.

Крепость была на возвышенном месте и оканчивалась к реке такою страшною, почти наклоненною стремниною, что, казалось, ежеминутно готова была обрушиться в волны. Почти на двадцать сажен вниз шумел Днестр. Здесь-то облег его Потоцкий своими войсками с трех сторон, обращенных к полю и к оврагам неровных берегов. Тарас с помощью своей храбрости и упрямой воли мог сделать тщетными все усилия осаждающих; но он не имел в опустелой крепости никаких средств для прокормления, а козаки менее всего могли сносить голод, особливо когда видели, что он должен наконец

окончиться медленною смертью. С рекою невозможно было иметь сообщения; одна только половина узкой дорожки висела вверху, остальная упала в волны с недавно отколовшеюся глыбою скалы, и вместо нее осталась стремнина.

Тарас решился оставить крепость, попробовать удачи прорваться сквозь ряды неприятелей и по берегу достигнуть такого места, с которого бы можно было кинуться на лошадях и пуститься с ними вплавь. Он стремительно вышел из крепости, и уже козаки пробрались сквозь неприятельские ряды, как вдруг Тарас, остановившись и нагнувшись в землю, сказал: «Стой, братцы! уронил люльку». В это самое время он почувствовал себя в дюжих руках, был схвачен набежавшим с тыла отрядом и отрезан от своих. Он двигнул своими членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, почти что не заплакав. Ему прикрутили руки, увязали веревками и цепями, привязали его к огромному бревну, правую руку, для большей безопасности, прибили гвоздем и поставили это бревно рубом в расселину стены, так что он стоял выше всех и был виден всем войскам, как победный трофей удачи. Ветер развевал его белые волоса. Казалось, он стоял на воздухе, и это, вместе с выражением сильного бессилия, делало его чем-то похожим на духа, представшего воспрепятствовать чему-нибудь сверхъестественною своею властью и увидевшего ее ничтожность. В лице его не было заметно никакой заботы о себе. Он вперил глаза в ту сторону, где отстреливались козаки. Ему с высоты все было видно как на ладоне.

— Занимайте, хлопцы, — кричал он, — занимайте, вражьи дети, говорю вам, скорее горку, что за лесом: туда не подступят они!

Но ветер не донес его слов.

— Вот пропадут, пропадут ни за что! — говорил он с бешенством и взглянул вниз, где блестел Днестр. Чувство радости сверкнуло в его глазах. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника три кормы. Он собрал все усилия и закричал так, что едва не оглушил стоявших близ него:

— Хлопцы, к берегу! к берегу! Под кручею, где крепость, стоят челны, а за вами в двадцати шагах спуск к берегу! Да забирайте все челны, чтобы не было погони!

На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны козаками. Но удар обухом по голове за такой совет переворотил в его глазах все. Его опустили вместе с бревном ниже, чтобы он не мог более подавать своих наставлений.

Козаки поворотили коней и бросились бежать во всю прыть; но берег все еще состоял из стремнин. Они бы достигли понижения его, если бы дорогу не преграждала пропасть сажени в четыре шириною: одни только сваи разрушенного моста торчали на обоих концах; из недосягаемой глубины ее едва доходило до слуха умиравшее журчание какого-то потока, низвергавшегося в Днестр. Эту пропасть можно было объехать, взявши вправо; но войска неприятельские были уже почти на плечах их. Козаки только один миг ока остановились, подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть. Под одним только конь оступился, но зацепился копытом и, привыкший к крымским стремнинам, выкарабкался с своим седоком. Отряд неприятельских войск с изумлением остановился на краю пропасти. Начальствовавший ими полковник, молодой, неустрашимый до безрассудности (он был брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия), без дальнего размышления решился повторить и себе то же и, желая подать пример своему отряду, бросился вперед с конем своим; но острые камни изорвали его, пропавшего среди пропасти, в клочки, и мозг его, смешанный с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты.

Когда Бульба очнулся немного от своего удара и глянул на Днестр, он увидел под ногами своими козаков, садившихся в лодки. Глаза его сверкнули радостью. Град пуль сыпался сверху на козаков, но они не обращали никакого внимания и отчаливали от берегов.

— Прощайте, паны-браты, товарищи! — говорил он им сверху. — Вспоминайте иной час обо мне! Об участи же

моей не заботьтесь! я знаю свою участь: я знаю, что меня заживо разнимут по кускам и что кусочка моего тела не оставят на земле,— да то уже мое дело... Будьте здоровы, паны-браты, товарищи! Да глядите, прибывайте на следующее лето опять, да погуляйте хорошенько!..— удар обухом по голове пресек его речи.

Черт побери! да есть ли что на свете, чего бы побоялся козак? Не малая река Днестр; а как погонит ветер с моря, то вал дохлестывает до самого месяца. Козаки плыли под пулями и выстрелами, осторожно минали зеленые острова, хорошенько выправляли парус, дружно и мерно ударяли веслами и говорили про своего атамана.

ПРИМЕЧАНИЯ

Цикл повестей «Миргород», как и «Вечера на хуторе близ Диканьки», состоял из двух частей. В первую часть вошли повести «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба», во вторую — «Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Обе части вышли из печати одновременно в начале 1835 года (цензурное разрешение обеих книг — 29 декабря 1834 г.).

При жизни Гоголя «Миргород» был переиздан лишь один раз — в 1842 году. Он составил второй том собрания сочинений писателя. Две повести («Вий» и особенно «Тарас Бульба») были подвергнуты автором серьезной переработке. Для второго издания своих сочинений Гоголь успел в 1851—1852 годах просмотреть корректуру лишь «Старосветских помещиков» и первых девяти глав «Тараса Бульбы» и внести в текст этих повестей некоторые исправления. Второй том этого издания вышел в свет уже после смерти писателя, в 1855 году.

Между «Вечерами на хуторе близ Диканьки» и «Миргородом» прошло всего несколько лет. Для Гоголя это были годы мучительных раздумий относительно его дальнейшей литературной судьбы. Обогащаясь новыми жизненными впечатлениями, молодой писатель вырабатывал в себе все более глубокий взгляд на современную действительность. Жизнь в официальном чиновничьем Петербурге постепенно развеивала в душе Гоголя те романтические иллюзии, с которыми не так давно он приехал в столицу. Ему открылись социальные противоречия крепостнической России. Трагическое положение народа, праздность и паразитизм помещичьего класса, бездушие и деспотизм господствующей власти — эти явления современной действительности все более привлекают внимание Гоголя.

В его душе возникает чувство неудовлетворенности теми произведениями, которые были им прежде написаны. Они стали казаться ему недостаточно «увесистыми» и слишком отвлеченными от острых вопросов действительности. Первого февраля 1833 года он пишет Погодину: «Вы спрашиваете об Вечерах Диканьских. Черт с ними!.. Я даже позабыл, что я творец этих Вечеров, и Вы только напомнили мне об этом... Да обрекутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня» (Н. В. Гоголь, т. X, стр. 256—257) [1].

Писатель все больше сознает, что источником подлинного искусства является реальная жизнь. Он резко отрицательно относился к надуманным и ходульным повестям Николая Полевого, к выспренним фальшивым пьесам Нестора Кукольника. Гоголь чувствовал крайнюю ограниченность представлений, согласно которым предметом искусства может быть лишь возвышенная, идеальная сторона действительности. Он понял необходимость изображения человека во всех его связях и отношениях с жизнью. А это в свою очередь требовало от писателя умения раскрыть всю потрясающую «тину мелочей», опутывающую человека, всю мелочную, житейскую прозу его повседневного существования. Такое художественное ви́дение действительности не имело ничего общего с «идеальной» поэзией старой романтической школы. Пушкин впервые увидел поэзию в таких явлениях жизни, в которых раньше она никогда даже не подозревалась. Гоголь пошел в этом направлении значительно дальше. «Вседневность» не только перестала быть «низкой», но становилась неиссякаемым источником прекрасного и поэтичного в искусстве. «Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина» (Н. В. Гоголь, т. VIII, стр. 54),— эти знаменитые строки из статьи о Пушкине были написаны Гоголем в 1832 году и выражали тот эстетический принцип, который отныне становился центральным в системе его взглядов на искусство.

1833 год явился трудным периодом в жизни Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки» казались ему уже пройденным этапом в его творчестве. Гоголь хочет создать произведения, более глубоко и непосредственно связанные с современной действительно-

[1] Здесь и далее все цитаты из статей и писем Н. В. Гоголя даются по тексту Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя, изд. Академии наук СССР, тт. I—XIV, Л.—М. 1937—1952.

стью. В его голове теснятся многочисленные замыслы. И ни один из них он не доводит до конца. В ответ на просьбу Максимовича прислать что-нибудь для альманаха «Денница» Гоголь пишет: «У меня есть сто разных начал и ни одной повести, и ни одного даже отрывка полного, годного для альманаха»(Н. В. Гоголь, т. X, стр. 283). Он начинает писать комедию «Владимир третьей степени», но, почувствовав, что «цензура ни за что не пропустит»— бросает ее; приступает к работе над комедией «Женитьба» (в первоначальной редакции — «Женихи»); задумывает ряд крупных работ по всеобщей истории и истории Украины. «Какой ужасный для меня этот 1833-й год!— пишет Гоголь 28 сентября этого года Погодину. — Боже, сколько кризисов!.. Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собою» (там же, стр. 277). Будучи уже прославленным автором двух книжек «Вечеров», он терзается сомнениями в серьезности своего призвания и едва не склоняется к решению целиком посвятить себя изучению истории.

Смятение и тревога пронизывают вдохновенное поэтическое обращение Гоголя к 1834 году: «У ног моих шумит мое прошедшее, надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений! О не скрывайся от меня, пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот так заманчиво наступающий для меня год. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами, или... О будь блистательно, будь деятельно, все предано труду и спокойствию!.. Таинственный, неизъяснимый 1834-й! Где означу я тебя великими трудами?» (Н. В. Гоголь, т. IX, стр. 16—17). И этот год стал переломным для Гоголя. Он решил судьбу его как писателя. В 1834 году Гоголь окончательно завершил работу над повестями «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего», опубликованными в начале следующего года в составе «Арабесок», а также подготовил к печати большую часть повестей «Миргорода». Именно здесь Гоголь утвердился на тех художественных позициях, которые привели его к созданию величайших произведений реалистического искусства.

Гоголь дал «Миргороду» подзаголовок: «Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Но эта книга была не просто продолжением «Вечеров». И содержанием и характерными особенностями своего стиля она открывала новый этап в творческом развитии писателя.

Композиция «Миргорода» отражала широту восприятия Гоголем современной действительности и вместе с тем свидетельствовала о размахе и диапазоне его идейно-художественных исканий. Произведения, столь разнородные по своему содержанию и стилю, были внутренне связаны между собой и в совокупности образовали единый, целостный художественный цикл. Обе части «Миргорода» построены контрастно: поэзия героического подвига в «Тарасе Бульбе» противостояла пошлости старосветских «существователей», а трагическая борьба и гибель философа Хомы Брута еще больше оттеняла жалкое убожество и ничтожность героев «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

В «Миргороде» Гоголь расстался с образом простодушного рассказчика Рудого Панька и выступил перед читателями как художник, ставящий важные вопросы жизни, смело вскрывающий социальные противоречия современности.

От веселых и романтических парубков и дивчин, вдохновенно-поэтических описаний украинской природы Гоголь перешел к изображению прозы жизни. В этой книге резко выражено критическое отношение писателя к затхлому быту старосветских помещиков и пошлости миргородских «существователей». Действительность крепостнической России предстала здесь в своей прозаической повседневности, реалистической конкретности и социальном обобщении. Сопоставляя повести «Миргорода» с «Вечерами на хуторе близ Диканьки», Белинский отметил, что в новой книге меньше «упоения» и «лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 301) [1].

Преемственность и вместе с тем различия гоголевских циклов весьма наглядно ощущаются, например, в повести «Вий». Романтическая стихия народной фантастики, характерная для «Вечеров на хуторе», сталкивается в этой повести с отчетливо выраженными чертами реалистического искусства, свойственными всему циклу «Миргорода». Достаточно вспомнить искрящиеся юмором сцены бурсацкого быта, а также ярко и сочно выписанные портреты бурсаков — «философа» Хомы Брута, «ритора» Тиберия Горобца и «богослова» Халявы. Причудливое сплетение мотивов фантастических и реально-бытовых обретает

[1] Здесь и далее все цитаты из статей В. Г. Белинского даются по тексту Полного собрания сочинений В. Г. Белинского, изд. Академии наук СССР, тт. I—XII, М. 1953—1956.

у Гоголя достаточно ясный идейный подтекст. Бурсак Хома Брут и ведьма-панночка предстают в «Вие» как выразители двух различных жизненных концепций. Демократическое, народное начало воплощено в образе Хомы, злое, жестокое начало — в образе панночки, дочери богатого сотника.

В «Вие», как и в «Вечерах», Гоголь остается верным народно-поэтической традиции, в соответствии с которой образы, противостоящие народу, выступают в обличье ведьм, колдунов, чертей. Они ненавидят все человеческое и готовы его уничтожить с такой же злобной решимостью, с какой панночка-ведьма готова была погубить Хому.

Характерным для нового этапа гоголевского творчества явился образ «философа» Хомы. Бездомный сирота, простой и великодушный, он противопоставлен богатому и надменному сотнику, точно так же как Хома Брут — совершенно земной человек, со всеми свойственными ему причудами, удалью, бесшабашностью и презрением к «святой жизни» — противостоит таинственно-романтическому образу ведьмы-панночки.

Вся повесть основана на контрасте: добра и зла, фантастического элемента и реально-бытового, трагического и комического. И в этом красочном многоголосье художественных приемов, которые так щедро использует здесь Гоголь, отчетливо звучит гуманистическая тема любви к простому человеку. Недаром Хома, стоя в церкви у гроба прелестной панночки и с ужасом узнав в ней ту самую ведьму, которую он убил, «чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь *песню об угнетенном народе*». Выделенные курсивом слова никогда при жизни Гоголя не печатались. Эта цензурная или автоцензурная купюра была впервые восстановлена по автографу в т. II Полного собрания сочинений писателя в издании Академии наук СССР в 1937 году.

По свидетельству Гоголя, Пушкин говорил ему, что еще ни у одного из писателей не было «дара выставлять так ярко... пошлость пошлого человека, чтобы вся та *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем». «Вот мое главное свойство,— добавляет Гоголь,— одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей» (Н. В. Гоголь, т. VIII, стр. 292). С огромной художественной мощью предстала в повестях Гоголя «страшная, потрясающая тина мелочей», в которой погрязла значительная часть современного ему общества.

Позднее, во втором томе «Мертвых душ», Гоголь писал, что изображение «несовершенства нашей жизни» является главной темой его творчества. К этой теме писатель вплотную подошел уже в «Миргороде».

Эволюция Гоголя от «Вечеров» к «Миргороду» была результатом более углубленного критического отношения писателя к действительности и свидетельствовала о его возросшем общественном самосознании.

Примечательна в этом отношении повесть «Старосветские помещики». В ней писатель отразил распад старого, патриархально-поместного быта. С иронией — то мягкой и лукавой, то с оттенком сарказма — рисует он жизнь своих «старичков прошедшего века», показывая бессмысленность их пошлого существования. Тускло и однообразно протекают дни Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, ни одно желание их «не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик». Гоголь посмеивается над бесхитростным бытием своих героев. Но вместе с тем он словно и жалеет этих людей, связанных узами патриархальной дружбы, тихих и добрых, наивных и беспомощных. Перо Гоголя обретает бичующую сатирическую силу, когда он от патриархальных старичков переходит к тем «малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал...»

Пушкин оценил эту повесть как «шутливую трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления» (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, т. XII, М.—Л. 1949, стр. 27). Конечно, идиллия здесь носит «шутливый» и в сущности иронический характер. Сочувствуя своим героям, писатель вместе с тем видит их пустоту и ничтожность. Идиллия в конце концов оказывается мнимой.

«Старосветские помещики» развивали ту тенденцию творчества Гоголя, которая впервые наметилась во второй части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». С этим произведением связаны истоки гоголевского реализма. В изображении пошлости и ограниченности помещичьей среды здесь уже ясно проступает сатирический талант писателя. Шпонька — прообраз будущих миргородских «существователей». Но «Старосветские помещики» знаменовали собой уже следующий и более зрелый этап в художественном раз-

витии Гоголя. Мелочность и пошлость гоголевских героев вырастала в символ тупой бессмысленности всего господствующего строя жизни. Свойственное героям «Старосветских помещиков» чувство любви, дружбы, душевной привязанности становится никчемным, пошлым — потому, что прекрасное чувство несовместимо с пустой, уродливой жизнью этих людей. Н. В. Станкевич писал Я. М. Неверову: «Прочел одну повесть из Гоголева «Миргорода» — это прелесть! («Старомодные помещики», так, кажется, она названа.) Прочти! Как здесь схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой, ничтожной жизни» («Переписка Н. В. Станкевича 1830—1840», М. 1914, стр. 318).

Суть дела, однако, в том, что само это «прекрасное чувство человеческое» тоже оказывается не настоящим, мнимым. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна нежно привязаны друг к другу. С первого взгляда кажется, что они любят друг друга. Но Гоголь тут же предостерегает нас от этого опрометчивого вывода, замечая, что в отношениях героев повести преобладает лишь сила привычки: «Что бы то ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки». Цитированные строки привлекли к себе внимание современной писателю критики. Шевырев ополчился против них, отметив, что ему очень не понравилась в повести «убийственная мысль о привычке, которая как будто разрушает нравственное впечатление целой картины» («Московский наблюдатель», 1835 г., № 2, стр. 406). Шевырев заявил, что он «вымарал» бы эти строки. В их защиту выступил Белинский. Он писал, что никак не может понять «этого страха, этой робости перед — истиной». Упоминание о привычке действительно разрушало «нравственное впечатление», первоначально создаваемое гоголевской «идиллией». Но это впечатление и должно было, по мысли писателя, быть разрушено. Никаких иллюзий! Даже в той сфере, в которой, казалось, могло бы проявиться высокое человеческое чувство героев повести, — нет его и здесь. Вместо чувства — всего-навсего власть привычки.

Реалистические и сатирические тенденции углубляются в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». История глупой тяжбы двух миргородских обывателей поднята Гоголем до большой обличительной темы. Жизнь этих обывателей уже лишена атмосферы патриархальной простоты и непосредственности, характерной для старосветских помещиков. Поведение обоих героев возбуждает в писателе уже не мягкую

усмешку, но чувство горечи и гнева: «Скучно на этом свете, господа!» Эта резкая замена юмористической тональности обнаженно сатирической с предельной ясностью раскрывает идею повести. С виду забавный, веселый анекдот превращается в сознании читателя в глубоко реальную картину действительности. Гоголь как бы хочет сказать: люди, подобные Ивану Ивановичу и Ивану Никифоровичу, — к сожалению, не прихотливая игра писательской фантазии; они действительно существуют, они среди нас, и потому жизнь наша так печальна. «Да! грустно думать,— писал Белинский, — что человек, этот благороднейший сосуд духа, может жить и умереть призраком и в призраках, даже и не подозревая возможности действительной жизни! И сколько на свете таких людей, сколько на свете Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей!» (В. Г. Белинский, т. III, стр. 444).

Все четыре повести «миргородского» цикла связаны, как уже отмечалось, внутренним единством идейного и художественного замысла. Вместе с тем каждая из них имеет и свои отличительные стилевые особенности. Своеобразие «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» состоит в том, что здесь наиболее отчетливо и ярко выражен свойственный Гоголю прием сатирической иронии. Повествование в этом произведении, так же как и в «Старосветских помещиках», ведется от первого лица, не от автора, но от некоего вымышленного рассказчика, наивного и простодушного. Это он восторгается доблестью и благородством Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Это его приводят в умиление «прекрасная лужа» Миргорода, «славная бекеша» одного из героев повести и широченные шаровары другого. И чем патетичнее выражаются его восторги, тем очевиднее для читателя раскрывается пустота и ничтожество этих персонажей. Рассказчик—представитель того же самого царства пошлости, и, таким образом, он содействует его саморазоблачению.

Нетрудно заметить, что рассказчик из повести о ссоре существенно отличен от Рудого Панька. В «Вечерах» рассказчик — совсем иной социально-психологический характер. Он прост и лукав, смел и горд, он знает цену острому слову и не прочь потешиться над знатью, которой «хуже нет ничего на свете». В том, как Рудый Панько воспринимает и оценивает явления действительности, проглядывает юмор и усмешка самого Гоголя. Пасичник является выразителем нравственной позиции автора. В «Миргороде» художественная функция рассказчика другая. Уже в «Старосветских помещиках» его нельзя отождествлять с автором.

А в повести о ссоре он еще более отдален от него. Ирония Гоголя здесь обнаженнее, острее. И мы уже догадываемся, что предметом гоголевской сатиры является по существу и образ рассказчика. Его особая композиционная роль в повести помогает более полному решению поставленной писателем сатирической задачи. «Автор как бы прикидывается простачком,— писал Белинский. — Г-н Гоголь с важностью говорит о бекеше Ивана Ивановича, и иной простак не шутя подумает, что автор и в самом деле в отчаянии оттого, что у него нет такой прекрасной бекеши. Да, г. Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишком глупым, чтобы не понять его иронии, но эта ирония чрезвычайно как идет к нему. Впрочем, это только манера...» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 298).

Лишь один раз предстает перед нами в повести о ссоре образ рассказчика, которого не коснулась авторская ирония: в заключительной фразе повести — «Скучно на этом свете, господа!». Эта фраза произнесена, конечно, уже не тем вымышленным персонажем, который восхищается бекешей Ивана Ивановича и шароварами Ивана Никифоровича. Нет, это сам Гоголь словно раздвинул рамки повести и вошел в нее, чтобы открыто и гневно, без какой бы то ни было тени иронии произнести свой приговор. Эта фраза приобретает тем более значительный смысл, что она венчает не только повесть о ссоре, но и весь «миргородский» цикл. Здесь — фокус всей книги. Белинский тонко и точно заметил, что повести Гоголя «смешны, когда вы их читаете, и печальны, когда вы их прочтете» (В. Г. Белинский, т. II, стр. 136—137). На всем протяжении книги писатель творит суд над людской пошлостью, становящейся как бы символом современной действительности. Но именно здесь, в конце повести о ссоре, этой действительности Гоголь открыто, от своего собственного имени выносит окончательный приговор.

Писателем, остро чувствующим современность, остается Гоголь и тогда, когда он обращается к исторической теме. «Всё в прошедшем настоящее, и тройною силою облечется твое слово» (Н. В. Гоголь, т. XII, стр. 421), — советовал Гоголь Н. М. Языкову. Такое отношение к истории и исторической теме было свойственно и самому автору «Тараса Бульбы».

Гоголь мечтал о сильном, героическом характере. Такие характеры он находит в многовековой истории борьбы украинского народа за свое освобождение от гнета польской шляхты. Миру торжествующей пошлости писатель противопоставляет мир воз-

вышенных страстей, настоящих людей, воспитанных в Сечи, — в условиях, где основой жизни являются вольность и «товарищество», одухотворенные чувством любви к родине.

В статье «О преподавании всеобщей истории», написанной в период начала работы над «Тарасом Бульбой», есть несколько строк, существенных для уяснения некоторых особенностей этой повести: «Все, что ни является в истории: народы, события — должны быть непременно живы и как бы находиться пред глазами слушателей или читателей, чтоб каждый народ, каждое государство сохраняли свой мир, свои краски, чтобы народ со всеми своими подвигами и влиянием на мир проносился ярко, в таком же точно виде и костюме, в каком был он в минувшие времена. Для того нужно собрать не многие черты, но такие, которые бы высказывали много, черты самые оригинальные, самые резкие, какие только имел изображаемый народ» (Н. В. Гоголь, т. VIII, стр. 27). Хотя Гоголь не касается здесь специфических задач, стоящих перед автором исторического романа, но цитированные строки помогают многое понять не только в теоретических взглядах Гоголя на историю, но и в его художественно-историческом методе. То новое, что содержалось в повести «Тарас Бульба» и отличало ее от предшествующих произведений Гоголя на историческую тему, было прежде всего связано с учетом «живых», «самых резких» черт народа, своеобразия национального характера.

Новаторское значение повести Гоголя состояло в том, что главной силой исторических событий выступил в ней народ. Гоголь и Пушкин впервые в нашей отечественной литературе подошли к изображению народных масс как главной движущей силы исторического развития, и это стало величайшим завоеванием русского реализма.

Впервые писатель обратился к теме национально-освободительной борьбы украинского народа в повести «Страшная месть», вошедшей в цикл «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Правда, исторический сюжет раскрылся в этом произведении отчасти еще в условно-романтической манере; события реальной истории причудливо переплетались с элементами фольклорной легенды и сказки. Но в повести отчетливо выражена национально-патриотическая идея. Борьба Данилы Бурульбаша и его удалых соратников против польских шляхтичей звучит в «Страшной мести» с большой патетической силой.

Почти одновременно, но несколько в ином художественном плане пытался решить Гоголь занимавшую его историческую тему в незавершенном романе «Гетьман», над которым работал в начале 30-х годов. Дошедшие до нас отрывки романа дают возможность судить о широте, но вместе с тем и об известной противоречивости гоголевского замысла. Реалистические тенденции в изображении крупных исторических событий, а также некоторых персонажей неожиданно столкнулись здесь с приемами старой романтической школы, и произведение начинало утрачивать внутреннюю художественную цельность. Вероятно, почувствовав это, Гоголь отказался от продолжения романа.

Но опыт, который писатель приобрел в процессе работы над «Страшной местью» и «Гетьманом», не прошел для него даром. Сумев преодолеть слабые стороны этих произведений, он создал почти на том же историческом материале повесть, которая стала событием в истории русской литературы.

Гоголь работал над «Тарасом Бульбой» в течение девяти лет — с 1833 до 1842 года. За это время им были созданы две редакции повести, значительно отличающиеся между собой. Гоголь был взыскательнейшим художником. Написав и даже напечатав свое произведение, он никогда не считал работу над ним законченной, продолжая неутомимо совершенствовать все элементы его поэтического стиля. Вот почему произведения этого писателя имеют такое множество редакций. Гоголь, по свидетельству Н. В. Берга, рассказывал, что он до восьми раз переписывал свои произведения: «Только после восьмой переписки, непременно собственною рукою, труд является вполне художнически законченным, достигает перла создания» («Гоголь в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1952, стр. 506).

Вторая редакция «Тараса Бульбы» создавалась одновременно с работой Гоголя над первым томом «Мертвых душ», то есть в период наибольшей идейно-художественной зрелости писателя. Повесть стала глубже по своей идее, своему демократическому пафосу, совершеннее в художественном отношении.

Чрезвычайно характерна эволюция, которую претерпела повесть. Во второй редакции она значительно расширилась в своем объеме. Вместо девяти глав в первой редакции — двенадцать глав во второй. Появились новые персонажи, конфликты, ситуации. Существенно обогатился историко-бытовой фон повести, были введены новые подробности в описании Сечи, сражений, заново написана сцена выборов кошевого, намного расширена картина

осады Дубно и т. д. Самое же главное в другом. В первой, «миргородской», редакции «Тараса Бульбы» движение украинского казачества против польской шляхты еще не было осмыслено в масштабе общенародной освободительной борьбы. Именно это обстоятельство побудило Гоголя к коренной переработке повести. В то время как в «миргородской» редакции «многие струны исторической жизни Малороссии» остались, по словам Белинского, «нетронутыми», в новой редакции повести автор исчерпал «всю жизнь исторической Малороссии и в дивном, художественном создании навсегда запечатлел ее духовный образ» (В. Г. Белинский, т. VI, стр. 661). Ярче и полнее раскрывается здесь тема народно-освободительного движения, и повесть в еще большей мере приобретает характер народно-героической эпопеи.

В центре «Тараса Бульбы» — героический образ народа, борющегося за свою свободу и независимость. Никогда еще в русской литературе так полно и ярко не изображались размах и раздолье народной жизни. Каждый из героев повести, сколь бы он ни был индивидуален и своеобразен, чувствует себя составной частью народной жизни. В беспредельном слиянии личных интересов человека с интересом общенародным — идейный пафос этого произведения.

Яркими и выразительными штрихами воссоздает Гоголь героев Сечи. Остап, бесстрашно поднимающийся на плаху; Бовдюг, страстно призывающий к «товариществу»; Шило, преодолевающий неимоверные препятствия, чтобы вернуться в родную Сечь; Кукубенко, высказывающий перед смертью свою заветную мечту: «Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы», — этим людям свойственна одна общая черта — беззаветная преданность Сечи и Русской земле. Пронзенный четырьмя неприятельскими копьями, Степан Гуска завещает казакам свою ненависть и любовь: «Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля!» Таковы эти люди, в которых Гоголь видит воплощение лучших черт национального русского характера.

Лишь один образ Андрия резко обособлен в повести. Он противостоит народному характеру и как бы выпадает из главной ее темы. Вместе с тем позорная гибель Андрия, являющаяся необходимым нравственным возмездием за его отступничество и измену общенародному делу, еще более подчеркивает величие центральной темы повести — темы героической борьбы народа против иноземных поработителей.

Во второй редакции подвергается серьезной переработке образ Тараса Бульбы: он становится социально более выразительным и психологически цельным. Если в «миргородской» редакции он перессорился со своими товарищами из-за неравного дележа добычи — деталь, явно противоречившая героическому образу Тараса Бульбы,— то во второй редакции он «перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов». Подобное усиление идейного акцента мы находим и в ряде других случаев. Например, в «миргородской» редакции было: «Вообще он (Тарас.— *С. М.*) был большой охотник до набегов и бунтов». В окончательной же редакции 1842 года мы читаем: «Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма». Именно во второй редакции Тарас произносит свою знаменитую речь о том, «что такое есть наше товарищество».

Гоголь выступил в «Миргороде» как первоклассный художник, зрелый писатель-реалист. В «Миргороде» впервые раскрылась наиболее яркая особенность стиля Гоголя — его умение создавать емкий по силе идейного и художественного обобщения характер. Многосложная и многокрасочная галерея образов повестей «Миргорода» вошла в золотой фонд русской классической литературы.

Неповторимое своеобразие гоголевского мастерства раскрывается в языке писателя. Гоголь видел в языке и слоге «первые необходимые орудия всякого писателя». Язык повестей Гоголя необычайно ярок, эмоционален. Гоголевская фраза красочна и картинна. Произведения Гоголя носят на себе печать глубокого и вдумчивого изучения народной речи. В свои записные книжки он заботливо вносил фольклорные и этнографические наблюдения, характерные слова и обороты народной речи. В работе над языком Гоголь стремился к простоте и выразительности. Эта демократическая ориентация на понятный самым широким массам читателей язык остается определяющей на всем протяжении творчества писателя.

Реакционная критика обвиняла Гоголя в отступлении от современных ему норм языка, в «дерзком восстании против правил грамматики и логики». Такие обвинения сопутствовали каждому его новому произведению. Булгарин, Сенковский, Греч глумились над художественным своеобразием гоголевского стиля

и призывали корректоров охранять русскую речь от Гоголя, уличая его в якобы незнании элементарных правил языка. Этих «грамматоедов» беспощадно высмеивал Белинский. В 1845 году он писал: «Пуристы, грамматоеды и корректоры нападают на язык Гоголя и, если хотите, не совсем безосновательно: его язык точно неправилен, нередко грешит против грамматики и отличается длинными периодами, которые изобилуют вставочными предложениями; но со всем тем он так живописен, так ярок и рельефен, так определителен и точен, что его недостатки, о которых мы сказали выше, скорее составляют его прелесть, нежели порок, как иногда некоторые неправильности черт или веснушки составляют прелесть прекрасного женского лица. Возьмите самый неуклюжий период Гоголя: его легко поправить, и это сумеет сделать всякий грамотей десятого разряда; но покуситься на это значило бы испортить период, лишить его оригинальности и жизни» (В. Г. Белинский, т. IX, стр. 228). Белинский при этом подчеркивал, что направление, данное Гоголем, «особенно плодотворно» не только для литературы, но и для языка.

В «Миргороде» впервые отчетливо определилась главная черта реалистического таланта Гоголя: его чуткость к острым, значительным проблемам русской действительности. Именно этим объясняется огромный общественный резонанс, который вызвал «Миргород».

Появление этой книги было встречено реакционной петербургской критикой крайне враждебно. Она порицала писателя за изображение «грязных» сторон действительности. «Библиотека для чтения», снисходительно одобряя в Гоголе «особенное дарование рассказывать шуточные истории», тут же бранила повесть «Вий», в которой якобы «нет ни конца, ни начала, ни идеи»; о «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» журнал писал: «...мы всегда были того мнения, что она очень грязна» («Библиотека для чтения», 1835 г., № 9, Отдел VI, стр. 33). Газета «Северная пчела» по поводу той же повести негодующе вопрошала: «Зачем же показывать нам эти рубища, эти грязные лохмотья, как бы ни были они искусно представлены? Зачем рисовать неприятную картину заднего двора жизни и человечества без всякой видимой цели?» («Северная пчела», 1835 г., № 115, стр. 453).

Ничем не отличались от подобных измышлений и отзывы реакционной московской критики. В марте 1835 года в «Московском

наблюдателе» появилась статья С. Шевырева. Внешне благожелательный тон его статьи не мог, однако, скрыть резко отрицательного отношения к основным эстетическим позициям Гоголя. Шевырев видел в писателе лишь автора «хохотливых» повестей, «литератора, который хочет щекотать наше воображение и играть на одних веселых струнах человека» («Московский наблюдатель», 1835, № 2, стр. 397).

В многочисленных статьях критики 30-х годов, посвященных «Миргороду», не было ни слова о новаторском характере гоголевских повестей, об их принципиальном значении для судеб русской литературы. Подобно тому как Пушкину многие критики той поры противопоставляли третьестепенного поэта Бенедиктова, Гоголю ставили в пример «светские» повести Марлинского.

Гоголь, по словам П. В. Анненкова, «стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться» («Литературные воспоминания», Л. 1928, стр. 240).

В сентябре 1835 года в журнале «Телескоп» появилась большая статья В. Г. Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя». Это одна из самых замечательных теоретических работ молодого Белинского, по существу — его второе, после «Литературных мечтаний», программное выступление по вопросам русской литературы. Творчество Гоголя рассматривается здесь в свете злободневных вопросов развития современной литературы.

Белинский прямо поставил вопрос: «Что такое г. Гоголь в нашей литературе?» Еще до выхода «Ревизора», задолго до «Мертвых душ» критик увидел в авторе «Миргорода» «главу литературы, главу поэтов». Статья «О русской повести» была началом борьбы Белинского за Гоголя, борьбы, которую он вел на протяжении всей своей жизни.

Произведения Гоголя давали Белинскому и всей демократической России возможность легального обсуждения наиболее жгучих вопросов современности. В самом появлении такого писателя, как Гоголь, критик находил отражение великого исторического факта: возможность созревания в обществе сил, способных вести борьбу за преобразование действительности.

В Гоголе Белинский видит самого выдающегося представителя русской прозы. Отличительные черты повестей Гоголя — простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность. Критик указывает на необычайную разносторон-

ность дарования Гоголя, на его умение показывать жизнь во всем ее сложном многообразии.

Анализ гоголевского творчества у Белинского обнаженно полемичен. Он полемизировал с «Северной пчелой», «Библиотекой для чтения» и особенно с «Московским наблюдателем» и его критиком Шевыревым. Претендуя на «оригинальность» и «основательность» своей теории, Шевырев пытался искусственно связать реалистическое творчество Гоголя с абстрактно-идеалистическими положениями шеллингианской эстетики. Он отвергал самое важное в повестях Гоголя — реалистический метод, направленный на изображение «низкой» действительности, и вместо этого ориентировал писателя на показ «светского быта». С беспощадной силой Белинский разоблачал критиков, проповедовавших «светскость» и «элегантность» в искусстве, пытавшихся одеть литературу в «модный фрак и белые перчатки».

Эстетическое оправдание «низкой», «грязной» натуры в искусстве означало привлечение внимания писателей к самым трагическим сторонам русской крепостнической действительности. Важно в этом отношении объяснение Белинским гоголевского юмора.

Белинский решительно возражал против попыток представить Гоголя комиком. «Комизм,—писал он в декабре 1847 года,— слово узкое для выражения гоголевского таланта. У него и комизм-то выше того, что мы привыкли называть комизмом» (В. Г. Белинский, т. XII, стр. 461).

Говоря о творчестве Гоголя, Белинский отмечает особую, присущую только ему черту — «комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 290). В этой формуле проницательно отмечено главное и определяющее в гоголевском юморе. Шевырев не заметил никакой перемены, происшедшей в творчестве Гоголя после «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Для Шевырева даже «Миргород» был лишь собранием смешных, забавных анекдотов. Основу «поэзии смеха» Гоголя Шевырев видел в «безвредной бессмыслице». Для Шевырева источником гоголевского юмора был ниспосланный писателю свыше «чудный дар». Белинский отверг это объяснение и сформулировал принципиально иное: комизм, или «гумор», Гоголя имеет своим главным источником самую жизнь. Сила гоголевского юмора — в «удивительной верности изображения жизни», в том, что писатель «представляет вещи не карикатурно, а истинно» (В. Г. Белинский, т. II, стр 137).

Именно здесь был корень спора с Шевыревым. Последний утверждал, что Гоголь наделен способностью комически воспринимать те или иные явления действительности. Отсюда неизбежно следовал вывод, что комизм — это нечто субъективное, *привносимое* Гоголем в действительность. Точка зрения Белинского была совершенно иная: гоголевский юмор — результат поразительно верного воспроизведения писателем жизни. Комизм не привносится им в действительность, а является отражением ее самой, ее ненормальных, уродливых, пошлых сторон. Белинский так и пишет: сущность гоголевского комизма состоит «не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 298).

Итак, первое свойство «гумора» Гоголя — верность действительности. Но этого мало. Белинский вскрывает и вторую его особенность: обличительный характер. «Гумор» Гоголя проникнут пафосом отрицания действительности, он «не щадит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение» (там же, стр. 298). В «гуморе» необыкновенно ярко проявился характер гоголевского реализма, его наиболее активный элемент. «Гумор» Гоголя обладал колоссальной разрушительной силой. Несколько лет спустя сатира Гоголя станет для Белинского выражением зреющего самосознания народа, который уже не только не боится прямо и смело взглянуть на своего врага, но и смеется над ним. «Смех — великое дело,— писал Гоголь,— он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный — как связанный заяц» (Н. В. Гоголь, т. VIII, стр. 186). Смех Гоголя разрушал легенду о незыблемости феодально-помещичьего строя России, развенчивал созданный вокруг него ореол мнимого могущества, выставлял на «всенародные очи» всю мерзость и несостоятельность николаевского режима, творил суд над ним, будил веру в возможность иной, более совершенной действительности.

К ней-то и была постоянно устремлена мысль художника. Мечта о прекрасной действительности одухотворяла его сатиру.

В юморе Гоголя выражен не только пафос отрицания, но и положительный идеал.

Лишь в некоторых случаях гоголевский юмор непосредственно содействует утверждению этого идеала. Выразительный

пример — «Тарас Бульба». Все произведение пронизано светлым жизнеутверждающим юмором. Он придает обаяние и человечность героям повести, он оттеняет их высокие нравственные качества, их патриотизм, их беззаветную преданность Сечи, Русской земле. Но в подавляющем большинстве произведений, посвященных изображению современной действительности, юмор писателя является формой проявления его критического пафоса.

Теория юмора, созданная Белинским, имела выдающееся значение: во-первых, она подчеркивала критическое направление гоголевского реализма, вскрывая при этом глубокое своеобразие художественного видения мира писателем; во-вторых, она ясно указывала Гоголю пути его дальнейшего творческого развития, ориентируя на необходимость еще большего усиления обличительного начала.

Белинский видел в Гоголе «поэта жизни действительной», и это означало не только признание молодого писателя, но и утверждение реализма как единственно возможного и плодотворного пути развития русской литературы. Молодая, демократическая Россия заявила устами Белинского о своих великих надеждах на Гоголя. Белинский поднял творчество Гоголя, как знамя в борьбе за искусство, близкое и понятное народу, помогающее осмыслить ужас его рабского положения, страстно обличающее его угнетателей, содействующее его социальному освобождению.

Весьма характерен отклик Гоголя на статью Белинского. Писатель, по словам П. В. Анненкова, был ею доволен, «и более чем доволен, он был осчастливлен статьей» («Литературные воспоминания», Л. 1928, стр. 241).

Белинский помог Гоголю окончательно утвердиться на реалистическом пути, который привел его вскоре к созданию величайших произведений искусства.

В 1836 году, в связи с выходом в свет второго издания «Вечеров на хуторе близ Диканьки», Пушкин поместил в первом томе «Современника» небольшую рецензию. В ней мы находим интересные мысли о «Миргороде», в которых чувствуется несомненное влияние Белинского.

Важнейшие положения статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя» легли в основу последующих статей Белинского о творчестве великого писателя. Через два десятилетия эти положения были подтверждены и развиты Н. Г. Чернышевским.

СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ

Впервые напечатано в сборнике «Миргород» (1835). Начало работы над повестью относится к концу 1832 года. Летом того же года Гоголь совершил поездку в родные края, побывал в Полтаве, более двух месяцев гостил в Васильевке. Впечатления от этой поездки и возбужденные ею семейные воспоминания нашли свое отражение в «Старосветских помещиках». Высказывалось, например, мнение, что в образах Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны отражены некоторые реальные черты характера и биографии деда и бабки писателя — Афанасия Демьяновича и Татьяны Семеновны Гоголь-Яновских. Гоголь использовал также рассказы друзей. История исчезновения кошечки, например, навеяна Гоголю эпизодом, услышанным им однажды от М. С. Щепкина. Об этом рассказывает А. Н. Афанасьев в статье «М. С. Щепкин и его записки»: «Случай, рассказанный в «Старосветских помещиках» о том, как Пульхерия Ивановна появление одичалой кошки приняла за предвестие своей близкой кончины, взят из действительности. Подобное происшествие было с бабкою М. С—ча. Щепкин как-то рассказал о нем Гоголю, и тот мастерски воспользовался им в своей повести. М. С—ч прочитал повесть и при встрече с автором сказал ему шутя: «А кошка-то моя!» — «Зато коты мои!» — отвечал Гоголь, и в самом деле коты принадлежали его вымыслу» («Библиотека для чтения», 1864, № 2, Отдел XI, стр. 8).

Белинский видел самую характерную черту гоголевского таланта в умении поэтически воспроизводить мелкие и повседневные явления действительности. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» критик писал: «И как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! Возьмите его «Старосветских помещиков»: что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, а потом рыдаете с Филемоном о его Бавкиде, сострадаете его глубокой, неземной горести и сердитесь на негодяя-наследника, промотавшего достояние двух простаков! И потом вы так живо представляете себе актеров этой глупой комедии, так ясно видите всю их жизнь, вы, который, может быть, ни-

когда не бывал в Малороссии, никогда не видал таких картин и не слыхал о такой жизни!» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 291—292).

Стр. 9. *Камлот* — шерстяная ткань. *Компанейцы* — солдаты и офицеры кавалерийских полков, формировавшихся из добровольцев.

Стр. 13. *Лембик* — резервуар, предназначенный для перегонки и очистки водки. *Войт* — сельский староста.

Стр. 16. *Ночвки* — маленькое корыто.

Стр. 17. *Узвар* — компот.

Стр. 20. *Нечуй*—трава. *Урда* — выжимки из маковых зерен.

Стр. 23. *Декохт* — лечебный отвар.

Стр. 28. *Мнишки* — сырники.

ТАРАС БУЛЬБА

«Тарас Бульба» имеет большую и сложную творческую историю. Повесть была впервые напечатана в «Миргороде» (1835). В 1842 году, во втором томе своих сочинений, Гоголь поместил «Тараса Бульбу» в новой, коренным образом переделанной редакции. Между первой и второй редакциями «Тараса Бульбы» был написан ряд промежуточных вариантов некоторых глав. В настоящем томе мы даем окончательную редакцию повести и в «Приложении» — первую, «миргородскую».

В «Тарасе Бульбе» нашла свое наиболее яркое отражение в русской литературе самоотверженная борьба украинского народа за свое национальное освобождение.

Эта борьба, длившаяся более двух столетий (XVI—XVII вв.), представляет собой подлинную героическую эпопею. Грозная запорожская вольница стала фактическим хозяином всего среднего и южного Приднепровья, наводила в течение многих десятилетий страх на турок, татар и польскую шляхту, зарившихся на украинскую землю. Гоголь пишет: «...бранным пламенем объялся древле-мирный славянский дух и завелось козачество — широкая, разгульная замашка русской природы...»

В 1569 году в Люблине было оформлено присоединение Украины к Польше. Борьба украинского народа против шляхты становится еще более острой. Центром этой героической борьбы являлась Запорожская Сечь.

История Украины конца XVI и начала XVII столетия отмечена крупнейшими восстаниями. Они выдвинули таких выдающихся деятелей, как Наливайко, Лобода, Тарас Трясыло, Гуня, Остраница. Среди этих имен некоторые исследователи пытались найти прототип Тараса Бульбы. Между тем в герое Гоголя не воспроизведено определенное реально-историческое лицо, равно как в повести нет изображения конкретно-исторического эпизода. Гоголь даже не придерживается в повести точной хронологии: вначале речь идет о XV веке, а несколько ниже упоминается уже XVI век, хотя отдельные детали произведения позволяют приурочить действие к середине XVII века.

В своей работе над «Тарасом Бульбой» Гоголь использовал большое количество исторических исследований: он изучал знаменитую «Историю русов» Конисского, «Историю о казаках запорожских» Мышецкого, «Описание Украины» Боплана, читал рукописные списки украинских летописей — Самовидца, Грабянки. Но важнейшим источником в работе Гоголя над исторической повестью были украинские народные песни, особенно исторические песни и думы. Гоголь был знатоком и собирателем народной песни. «Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю... — писал он в 1833 году своему другу М. А. Максимовичу. — Я не могу жить без песен» (Н. В. Гоголь, т. X, стр. 284). Гоголь считал народную песню неоценимой для писателя, желающего «выпытать дух минувшего века», ибо «это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа» (Н. В. Гоголь, т. VIII, стр. 90). Гоголь черпал из украинской народной песни сюжетные мотивы, порой даже целые эпизоды. Народная песня оказала огромное влияние на язык повести и на всю ее художественно-изобразительную систему.

В изображении Сечи и ее героев Гоголь сочетает историческую конкретность, характерную для писателя-реалиста, и высокий лирический пафос, свойственный поэту-романтику. Органическое слияние этих двух стилевых линий создает художественное своеобразие и обаяние гоголевской повести.

Белинский видел в «Тарасе Бульбе» величайший образец художественного эпоса. Еще в 1835 году, в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», он писал о «Тарасе Бульбе»: «Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 304).

Стр. 33. *Пышный* — здесь: в смысле гордый, недотрога.

Стр. 34. *Пундики* — сладости. *Вытребеньки* — причуды.

Стр. 38. *Охочекомонные козаки* — конные добровольцы. *Броварники* — пивовары.

Стр. 39. *Комиссары* — польские сборщики податей.

Стр. 41. *Очкур* — шнурок, которым затягивали шаровары.

Стр. 47. *Шемизетка* — накидка.

Стр. 50. *Кулиш* — жидкая каша с салом.

Стр. 51. *Крамари под ятками* — торговцы в палатках.

Стр. 55. *Кошевой* — руководитель коша (стана), выбиравшийся ежегодно.

Стр. 65. *Клейтух* — пыж.

Стр. 68. *Чайки* — длинные узкие речные суда запорожцев.

Стр. 69. *Мазницы* — ведра для дегтя. *Саламата* — мучная похлебка. *Оксамит* — бархат.

Стр. 72. *Городовое рушение* — городское ополчение.

Стр. 82. *Della notte* — ночной (итал.) — прозвище, данное итальянцами голландскому художнику Герриту (ван Герарду) Гонтгорсту (1590—1656), своеобразие картин которого основано на резком контрасте света и тени.

Стр. 83. *Клирошанин* — церковнослужитель, поющий в церковном хоре (на клиросе).

Стр. 85. *Пробавить* — поддержать.

Стр. 92. *Осокорь* — серебристый тополь.

Стр. 95. *Кухоль* — глиняная кружка.

Стр. 97. *Далибуг* (польск.)—ей-богу. *Зерцало*—два скрепленных между собой щита, которыми в старину воины предохраняли спину и грудь.

Стр. 102. *Черенок* — кошелек.

Стр. 111. *Заход* — залив.

Стр. 115. *Облога* — целина, пустошь.

Стр. 123. *Габа* — белое турецкое сукно.

Стр. 132. *Корчик* — ковш.

Стр. 133. *Гаман* — кошелек, бумажник.

Стр. 138. *Левентарь*, или региментарь, — начальник охраны.

Стр. 141. *Цурки* — девушки.

Стр. 144. *Кунтуш* — верхнее старинное платье.

Стр. 147. *Генеральный бунчужный* — хранитель бунчука, жезла—знака гетманской власти.

ВИЙ

Впервые напечатано в сборнике «Миргород» (1835). Начало работы над повестью относится к 1833 году.

Подготавливая повести «Миргорода» ко второму тому своих сочинений (1842), Гоголь заново переработал «Вий». Например, было переделано место, где старуха-ведьма превращается в молодую красавицу, сокращены подробности эпизода в церкви, значительно переработано и окончание повести.

В примечании к «Вию» автор указывает, что «вся эта повесть есть народное предание» и что он его передал именно так, как слышал, почти ничего не изменив. Это примечание Гоголя вызывает, однако, сомнение. Во всяком случае, до сих пор не известно ни одно произведение фольклора, сюжетно напоминающее повесть. Лишь отдельные мотивы «Вия» близки некоторым народным сказкам и преданиям.

В нескольких эпизодах «Вия» можно найти отголоски романа В. Нарежного «Бурсак» (1824). Сходство деталей особенно ощутимо в описаниях бурсацкого быта. Здесь, очевидно, имело значение то обстоятельство, что оба писателя были знакомы с одними и теми же литературными источниками, посвященными изображению этого быта; кроме того, что особенно важно, Гоголь и Нарежный (земляки, оба миргородцы) были в какой-то степени близки друг другу общностью своих жизненных впечатлений. В идейно-художественном отношении роман Нарежного, основанный на внешнем комизме положений, конечно уступает реалистической повести Гоголя.

В 1835 году, в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», Белинский дал положительную оценку «Вию» («эта повесть есть дивное создание»), но тут же отмечал неудачу Гоголя «в фантастическом». В 1843 году, в связи с выходом новой редакции «Вия» во втором томе сочинений Гоголя, Белинский отнесся к этой повести более сдержанно. Он писал: «Повесть «Вий» через изменения сделалась много лучше против прежнего, но и теперь она более блестит удивительными подробностями, чем своею целостию. Недостатки ее значительно сгладились, но целого по-прежнему нет» (В. Г. Белинский, т. VI, стр. 661). Этот отзыв объясняется в значительной мере тем, что Белинский принципиально не разделял увлечения Гоголя фантастикой.

Стр. 154. *Грамматики и риторы* — так назывались в духовных семинариях ученики младших классов; *философы и богословы* — ученики старших классов. *Пали* — семинарское выражение: удар линейкой по рукам.

Стр. 155. *Авдиторы* — ученики старших классов, которым доверялась проверка знаний учеников младших классов.

Стр. 156. *Канчук* — плеть. *Вертеп* — старинный кукольный театр.

Стр. 157. *Канты* — духовные песни. *Паляница* — пшеничный хлеб.

Стр. 158. *Оселедец* — длинный клок волос на голове, заматывавшийся за ухо; в собственном смысле — сельдь.

Стр. 160. *Чумаки* — украинские торговцы, возившие в Крым хлеб, а оттуда привозившие рыбу и соль.

Стр. 165. *Книш* — печеный хлеб из пшеничной муки. *Очипок* — род чепца.

Стр. 166. *Dominus* (лат.) — господин.

Стр. 170. *Инде* — кое-где.

Стр. 175. *Нагидочка* (ноготок) — цветок.

Стр. 177. *Бонмотист* (франц.) — остряк; bon mot — острота.

Стр. 188. *Небоже* — бедняга.

Стр. 190. *Пфейфер* (нем.) — перец.

Стр. 191. *Кнур* — боров.

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ

Впервые напечатана в альманахе Смирдина «Новоселье» (часть 2-я, 1834), с подзаголовком «Одна из неизданных былей пасичника Рудого Панька». В 1835 году повесть появилась с незначительными стилистическими исправлениями в сборнике «Миргород». Она была написана ранее других произведений этого сборника. В альманахе «Новоселье» «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» датирована 1831 годом. Однако исследователями эта дата берется под сомнение. Повесть могла быть написана не ранее лета 1833 года.

Материалом для сюжета «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» послужили известные Гоголю факты сутяжничества между помещиками и отчасти семейные воспоминания (см., например, письмо Гоголя к матери от

30 апреля 1829 года: «Свидетельствую мое почтение дедушке. Скажите, пожалуйста, что его тяжба? Имеет ли конец?» (Н. В. Гоголь, т. X, стр. 142). В числе литературных источников, оказавших влияние на повесть Гоголя, обычно называют роман В. Нарежного «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» (1-е изд.— М. 1825). Здесь рассказана история ссоры и бесконечной судебной тяжбы двух приятелей — Ивана Зубаря и Ивана Хмары — с их соседом Харитоном Занозой. Роман Нарежного представлял собой выразительную картину быта и нравов провинциальной помещичьей среды. Сюжетно «Два Ивана» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» весьма схожи. Но повесть Гоголя принципиально отличается от романа. Реалистичность замысла романа Нарежного в значительной степени ослаблялась морально-дидактической тенденцией автора. Тяжущимся бездельникам противопоставлен некий сентиментальный и мудрый пан Артамон, которому в конце концов удается примирить героев и обратить их на путь нравственного возрождения. Для вящего скрепления дружбы вчерашних врагов сыновья двух Иванов женятся на дочерях Харитона. Эта фальшивая идиллия, венчающая роман, ослабляла его сатирическую направленность.

Повесть Гоголя свободна от искусственно усложненной авантюрной интриги романа Нарежного. Внимание Гоголя сосредоточено не на деталях быта, не на описании нравов, но прежде всего на характерах героев, которым придается полнота художественного обобщения и социальной выразительности. В отличие от Нарежного, Гоголь создал произведение большой сатирической силы.

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» получила высокую оценку Пушкина; 3 декабря 1835 года он записал в своем дневнике: «Вчера Гоголь читал мне сказку, как Ив. Ив. поссорился с Ив. Тимоф.— очень оригинально и очень смешно» (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, т. XII, М.—Л. 1949, стр. 316. У Пушкина здесь неточность, он запамятовал отчество Ивана Никифоровича). Белинский считал эту повесть одним из лучших произведений «миргородского» цикла. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» он писал: «В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностию и юродством этих живых пасквилей на человече-

ство — это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на этом свете, господа!» — вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством; вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия!» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 289—290).

Повесть вызвала злобные нападки реакционной критики на Гоголя. Именно это произведение дало ей повод обвинять автора «Миргорода» в исключительном пристрастии к «грязной» и «пошлой» натуре. Неприятности, связанные с повестью, начались у Гоголя еще до того, как она вышла в свет. Во время ее печатания в альманахе «Новоселье» у писателя произошла стычка с цензурой. Об этом свидетельствует запись цензора А. В. Никитенко в его дневнике от 14 апреля 1834 года: «Был у Плетнева. Видел там Гоголя: он сердит на меня за некоторые непропущенные места в его повести, печатаемой в «Новоселье» («Записки и дневник», СПб. 1893, т. I, стр. 326). Какие именно места не были пропущены — установить нельзя, так как рукопись утеряна.

Готовя повесть к переизданию в «Миргороде», Гоголь написал небольшое предисловие:

«Долгом почитаю предуведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени. Притом оно совершенная выдумка. Теперь Миргород совсем не то. Строения другие; лужа среди города давно уже высохла, и все сановники: судья, подсудок и городничий — люди почтенные и благонамеренные» (Н. В. Гоголь, т. II, стр. 221). Предисловие это представляло собой замаскированную издевку над цензурой, обкорнавшей повесть при первом издании. Гоголь иронически как бы заверял цензуру, что ее недовольство повестью ни на чем не основано, ибо описанное происшествие ничего общего с действительностью не имеет, что это всего лишь невинная «выдумка». Однако в самый последний момент перед выходом «Миргорода» в свет Гоголь, по причинам недостаточно выясненным, снял это предисловие. Оно сохранилось лишь в нескольких первых экземплярах книги. В издании 1842 года предисловие отсутствует.

Стр. 195. *Смушки* — мерлушки, шкурки ягненка.

Стр. 196. *Очерет* — тростник.

Стр. 197. *Запаска* — кусок домотканой шерсти, которую носили вместо юбки.

Стр. 201. *Кавимир* — вид полушерстяной материи.

Стр. 205. *Канупер* — многолетняя трава с сильным запахом.

Стр. 206. *Саж* — хлев, в котором откармливают свиней.

Стр. 210. *Штаметовая бекеша* — бекеша из плотной шерстяной материи.

Стр. 215. *Поветовый* — уездный. *Плахта* — ткань, расшитая узором; юбка из этой материи.

Стр. 216. *Зерцало* — треугольная призма, на которой наклеивались указы Петра I. *Подсудок* — чиновник земского уездного суда. *Бобон* — опухоль.

Стр. 218. *Позов* — иск.

Стр. 240. *Утрибка* — кушанье из потрохов.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

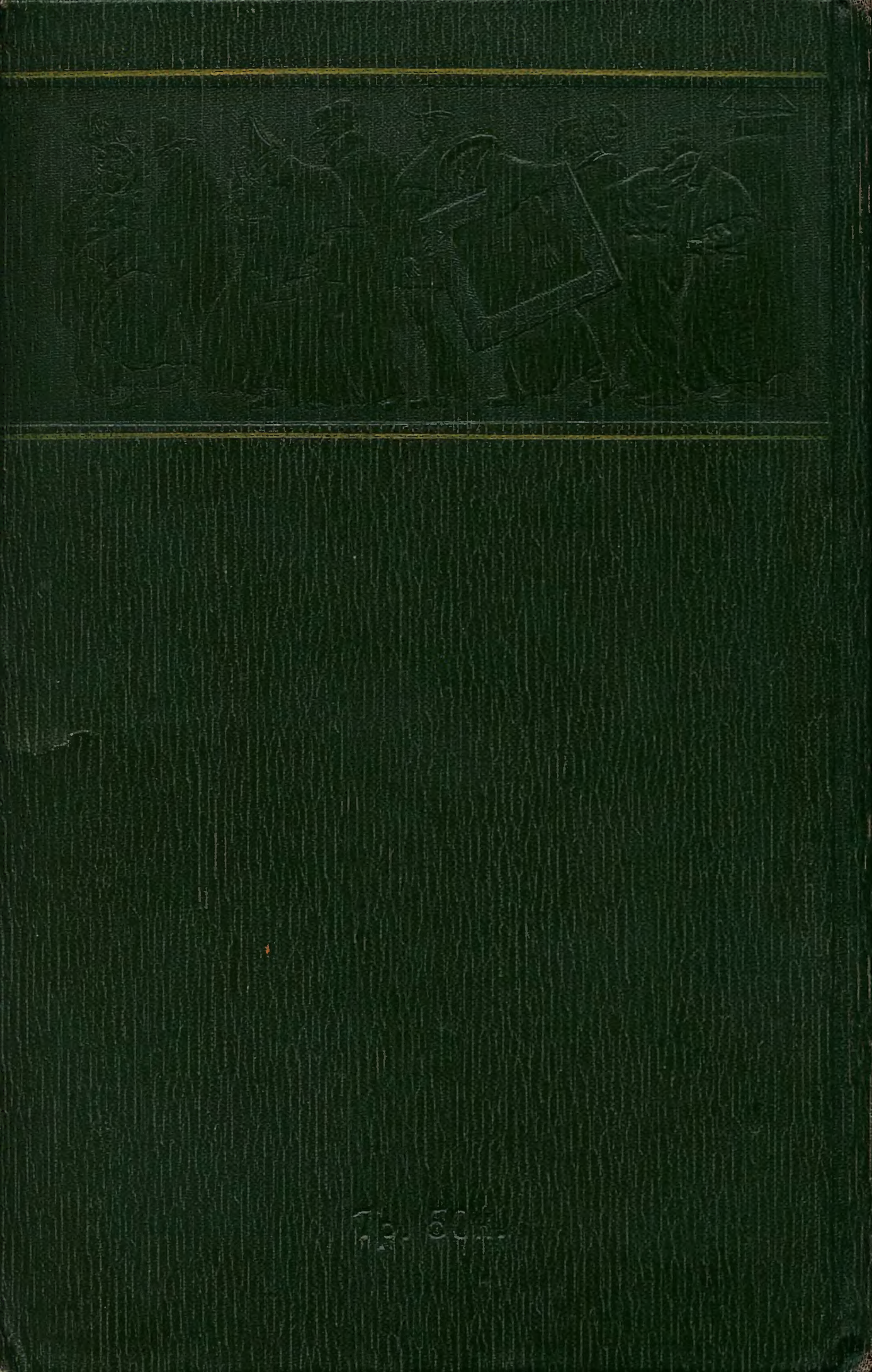
Гоголь Николай Васильевич
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, т. 2

Редактор *С. Чулков*
Художественный редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *З. Евдокимова*
Корректоры *М. Доценко* и *А. Чернявская*

Сдано в набор 27/X 1958 г.
Подписано в печать 12/XII 1958 г.
Бумага 84×108 1/32. 11,0 печ. л.
18,04 усл. печ. л. 17,15 уч.-изд. л.+8 вкл.=17,55
Тираж 1-го завода 150 000 экз. Заказ № 2405.
Цена 7 р. 50 к.

Гослитиздат.
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.


1 р. 60 к.